



Избранные
МЫСЛИ



А. С. Пушкина,

Н. В. Гоголя,

Л. Н. Толстого



Избранные
МЫСЛИ

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого



ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ 2001

УДК 08
ББК 94.8
ИЗ2

Текст печатается по изданиям:

Мысли Пушкина. СПб., 1911;

Избранные мысли и отрывки из сочинений Гоголя,
его писем и воспоминаний о нем. СПб., 1887;

Настольный Толстой: мысли, взгляды,
изречения и афоризмы Л. Н. Толстого. СПб., 1908

**Избранные мысли А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и
ИЗ2 Л. Н. Толстого.** — М.: ТЕРРА—Книжный клуб,
2001. — 320 с.

ISBN 5-275-00216-5

В книгу вошли издававшиеся в разное время и независимо друг от друга сборники мыслей и афоризмов трех великих русских писателей: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого. Редакция посчитала оправданным и даже полезным такое объединение, чтобы читатель имел возможность в одной книге обратиться за советом сразу к трем великим русским мыслителям, тем более что, несмотря на различие всех троих, их мысли во многом созвучны и более чем современны.

УДК 08
ББК 94.8

ISBN 5-275-00216-5

© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

От редакции

Это издание – попытка обрисовать трех великих русских писателей как мыслителей, штрихами их же собственного пера. В книгу вошли наиболее яркие высказывания А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого.

Здесь воедино собраны их изречения, взгляды на те или иные вопросы, их наблюдения и мысли, рассыпанные в многочисленных сочинениях и письмах. Таким образом, читатель сможет из одной книги получить представление о характернейших чертах мыслительного портрета этих писателей.

Сборник подготовлен на основании трех изданий, вышедших в Санкт-Петербурге независимо друг от друга на рубеже XIX–XX вв. Нами внесены некоторые незначительные изменения, необходимые для объединения трех книг в одну, в основном они носят технический характер.

Несколько слов о структуре нашего сборника. Он состоит из трех частей, каждая из которых включает высказывания одного из писателей. Каждая часть разбита на несколько разделов, посвященных определенной теме, например, литературе, политике, любви, дружбе и т.д. Это упростит работу читателей с книгой, когда возникнет необходимость ознакомиться со взглядами писателей на тот или иной вопрос.

Высказывания приводятся в той самой форме, в которой они выражены автором, и лишь в нескольких случаях (это касается А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя) эта форма изменена, например, придаточное предложение изложено в виде главного, местоимение заменено существительным, или (в случае с Н. В. Гоголем) мысли писателя приведены по воспоминаниям его современников.

МЫСЛИ А. С. Пушкина

Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души высокие порывы.

«К Чаадаеву»

ИСКУССТВО. ПОЭЗИЯ. ПОЭТ



Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво.

«19 октября»



Мы еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе, и что главное достоинство искусства есть польза. Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных и медных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои стихами? И какая польза в Тициановой Венере или в Аполлоне Бельведерском?

«О драме»



Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следовательно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие — необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное великое совершенство.

«О вдохновении и восторге»



Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, или чувство, в смирении своем еще более возвышенное, желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь.

«Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Телякова, 1836»



Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными, однообразными стопами?

«Египетские ночи»



Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни —
Все предались бы вольному искусству!

«Моцарт и Сальери»



Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел.

«Жуковскому»



Поэзия бывает исключительно страстию немногих, родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни.

«О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»



Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! Нет,
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

«Герой»



Поэзия — вымысел и ничего с прозаической истиной жизни общего не имеет.



Произведения великих поэтов остаются свежи и вечно юны — и между тем, как великие представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другим стареют, и один другому уступает место, одна поэзия остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей младости.



Век может идти себе вперед, и науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, но поэзия остается на одном месте; цель ее одна, средства те же.



Счастливый мадригал приносит иногда более славы, нежели создание истинно высокое, редко понятное для записных ценителей ума человеческого и мало доступное для большого числа читателей.

(О сочинениях Г. Конинского)



В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.

«Евгений Онегин»



Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта.

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»



Для вдохновения нужно сердечное спокойствие.

(Письмо к Плетневу, 1835 г.)



Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может избежать грубых сцен; если же нет, то нет ему нужды стараться заменять их чем-нибудь иным.

(Заметки о Борисе Годунове)



Гг. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого 15-летняя знакомая, и все, что, по благоусмотрению родителей, не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным! Как будто литература и существует только для 16-летних девушек!



Безнравственное сочинение есть то, коего целью или действием бывает потрясение правил, на коих основано общественное счастье или достоинство человеческое. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в воспалительный состав. Но шутка, вдохновенная сердечною веселостью и минутною игрою воображения, может показаться безнравственной только тем, которые о

нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие.



Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую.



Блажен, кто про себя таил
Души высокие создания!
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!

«Разговор книгопродавца с поэтом»



Не надобно все высказывать — это есть тайна занимательности.

(Письмо к Вяземскому, 1823 г.)



Писатель должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы.

(Письмо к Раевскому, 1827 г.)



Ужели невозможно быть истинным поэтом не будучи ни закоснелым классиком, ни фанатическим романтиком?

(Там же)



Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности.



Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы;
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные добровы...

«Поэт»



Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

«Чернь»



Поэт, не дорожи любовью народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной;
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

«Поэту»



Однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного.



Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама.



История народа принадлежит поэту.

(Письмо к Гнедичу, 1825 г.)



Не тот поэт, кто рифмы плестъ умеет.

«К другу стихотворцу»



Еще не гения печать
Охота смертная на рифмах лепетать.

(А. А. Шишкову)



На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.

«К другу стихотворцу»



Внемлите истине полезной:
Наш век торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.

Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!

«Разговор книгопродавца с поэтом»



Что слава? Шепот ли чтеца?
Гоненье-ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?



Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца
есть его звание и прозвище, которым он заклеен, и кото-
рое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него,
как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее
пользы и удовольствия.

«Египетские ночи»

СЛОВЕСНОСТЬ. ПИСАТЕЛИ. КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАВЫ



Народность в писателях есть достоинство, которое
вполне может быть оценено одними соотечественниками:
для других оно или не существует, или даже может пока-
заться пороком.

«О народности в литературе»



Климат, образ жизни, вера дают каждому народу осо-
бенную физиономию, которая более или менее отражается и
в поэзии.

(Там же)



В наше время под словом роман разумею историческую
эпоху, развитую в вымышленном повествовании.

(О романе Загоскина «Юрий Милославский»)



Смех, жалость и ужас суть три струны нашего вообра-
жения, потрясаемые волшебством драмы; но смех скоро ос-
лабевает, и на нем одном невозможно основать полного
драматического действия. Древние трагики пренебрегали
сею пружиною. Народная сатира овладела ею исключитель-
но и приняла форму драматическую, более как пародию.
Таким образом родилась комедия, со временем столь усю-

вершенствованная. Заметили, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что нередко близко подходит к трагедии.

«О драме»



Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что, если докажут нам, что и самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие? Читая поэму, роман, мы часто можем забыть и полагать, что описываемое происшествие не есть вымысел, но истина; в оде, в элегии можем думать, что поэт изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но может ли сей обман существовать в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые etc., etc. Если мы будем полагать правдоподобие в строгом соблюдении костюма, красок времени и места, то и тут мы увидим, что величайшие драматические писатели часто не повиновались сему правилу. У Шекспира римские ликторы сохраняют обычаи лондонских альдерманов. У Кальдерона храбрый Кориолан вызывает противника на дуэль и бросает перчатку. У Расина полускиф Ипполит ее поднимает и говорит языком молодого и благовоспитанного маркиза. Корнеля Клитемнестру сопровождает швейцарская гвардия. Римляне Корнеля суть если не испанские рыцари, то гасконские бароны. Со всем тем Кальдерон, Шекспир, Корнель и Расин стоят на высоте недостижимой, а их произведения составляют вечный предмет наших изучений и восторгов.

(Там же)



Творец трагедии народной был образованнее своих зрителей; он это знал и давал им свои свободные произведения с уверенностью в своей возвышенности, и публика беспрекословно это признавала. При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже своей публики: зрители были образованнее его — по крайней мере, так думал и он, и они; он не предавался вольно и смело своим вымыслам; он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по

состоянию; он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих патронов: от сего и робкая чопорность и отсекаемая смешная надутость, вошедшая в пословицу (*un héros, un roi de comédie*¹), и привычка влагать в уста людям высшего состояния, с каким-то подобострастием, странный, нечеловеческий образ изъяснения.

(Там же)



Что нужно драматическому писателю? Философия, беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, отсутствие предрассудков и всякой любимой мысли.

(Там же)



Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя.

(Там же)



Робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма.

(Письмо к Бестужеву, 1825 г.)



Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности.

(Письмо к Рылееву, 1825 г.)



Воспитанные под влиянием французской литературы, русские привыкли к правилам, утвержденным ее критикою, и неохотно смотрят на все, что не подходит под сии законы.

(Письмо к Раевскому, 1827 г.)

¹ Герой, король комедии (*фр.*).



Tous les troubies se ressemblent. L'Auteur dramatique ne peut répondre des paroles qu'il met dans la bouche des personnages historiques. Il doit les faire parler selon leur caractère connu. Il ne faut donc faire attention qu'à *l'esprit dans lequel est conçu l'ouvrage entier*, à l'impression qu'il doit produire.¹

(Письмо к Бенкендорфу, 1830 г.)



Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты, неоспоримо, на стороне Москвы.

«Мысли на дороге»



Без самоотвержения в нынешнем состоянии нашей литературы ничего нельзя произвести истинно достойного внимания.

«О драме»



Знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов, овладевают русской словесностью.

«О старой русской словесности»

¹ «Все смуты похожи одна на другую. Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей. Он должен заставить их говорить в соответствии с установленным их характером. Поэтому надлежит обращать внимание лишь на дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести» (фр.). (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., Воскресенье, 1996. Т. 14. С. 78. Пер.— с. 406). Далее — ПСС.



Французская словесность, со времен Кантемира имевшая всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу, должна была отозваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее было слабо. Оно ограничилось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»



Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной.

(Письмо к Гнедичу, 1822 г.)



Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского.

(Письмо к Воейкову, 1831 г.)



К сожалению, старой словесности у нас не существует, за нами степь — и над ней возвышается единственный памятник: «Песнь о Полку Игореве».



Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.

«Мысли на дороге»



Всем известны слова Петра Великого, когда представили ему двенадцатилетнего школьника Василия Тредьяковского: «вечный труженик!» Какой взгляд! Какая точность в определении! В самом деле, что был Тредьяковский, как не вечный труженик!



Драма никогда не была у нас потребностью народною. Первые трупы, появившиеся в России, не привлекали народа, не понимавшего драматизма и не привыкшего к его условиям. Явился Сумароков, несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противомыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елизаветы, как новость, как подражание парижским увеселениям. Сии вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие. Озеров это чувствовал. Он попытался дать нам трагедию народную и вообразил, что сего довольно будет, если выберет предмет из народной истории, забыв, что поэты Франции брали все предметы для своих трагедий из греческой, римской и европейской истории, и что самые народные трагедии Шекспировы заимствованы им из итальянских новелл.

«О драме»



Державин не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова) — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, он не может выдержать и строфы. Что же в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего,

что мы знаем об нем (не говоря уже о его министерстве); у Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочее сжечь.

(Письмо к Дельвигу, 1825 г.)



В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидроta и Ренала; но все в нескладном и искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные, поверхностные сведения, наобум приносившие ко всему, — вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие: не лучше ли было бы представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян? Он злится на цензуру: не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы с одной стороны сословие писателей не было притеснено, и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы; а с другой — чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна; ибо правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью. — Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно. Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в branчивые и напыщенные выражения и не-

законно тиснуты в станках тайной типографии, с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением.

«Александр Радищев»



«История Государства Российского» [Н. М. Карамзина] есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.



Желание отличиться от Карамзина слишком явно в г-не Полевом, и как заглавие его книги есть не что иное, как пустая пародия заглавия «Истории Государства Российского», так и рассказ г-на Полевого слишком часто не что иное, как пародия рассказа историографа.

(Об «Истории русского народа» Полевого)



Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умиленная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, набожность к власти царя, данной от Бога, совершенное отсутствие суетности, пристрастия дышать в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись кн[язя] Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличалась от смиренной жизни безмятежных иноков.

(Письмо к Раевскому, 1827 г.)



Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен.

(Письмо к Вяземскому, 1825 г.)



За что Чадаев с братией нападает на реформацию, c'est à dire un fait de l'esprit Chrétien. Ce que le christianisme y perdit en unité il le regagna, [par [cet] ce fait], en popularité.¹ Греческая церковь — дело другое: она остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа.

(Письмо к П. А. Вяземскому, 1831 г.)



Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

«К портрету Жуковского»



Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его останется всегда образцовым.

(Письмо к Рылееву, 1825 г.)



Неоспоримое дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим. Речь Минина на нижегородской площади слаба: в ней нет порывов народного красноречия. Боярская Дума изображена холодно. Можно заметить два-три анахронизма и некоторые погрешности против языка и костюма.

(О романе Загоскина «Юрий Милославский»)



«Вечера близ Диканьки» изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без

¹ «...то есть на известное проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при этом в отношении своего единства, настолько же оно выиграло в отношении своей народности» (фр.). (ПСС. Т. 14. С. 205. Пер. — с. 434).

чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился.

(Письмо к Воейкову, 1831 г.)



Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом, чувством.

«Баратынский»



Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах.



«Нечестивые, пишет Магомет, думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом.

«Подражания Корану»



Книга *Tristium* не заслужила строгого осуждения. Она выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидиевых (кроме «Превращений»). Героиды, Элегии любовные и самая поэма *Ars amandi*, мнимая причина его изгнания, уступают Элегиям Понтийским. В сих последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности, и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли! сколько живости в подробностях! и какая грусть о Риме! какие трогательные жалобы!

«Фракийские элегии. Стихотворение Виктора Теплякова, 1836»



Тацит есть великий сатирический писатель, впрочем, исполненный политических предубеждений.



Когда в XII столетии, под небом полуденной Франции, отозвалась рифма в прованском наречии — ухо ей обрадовалось: трубадуры стали играть ею, придумывать для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными формами. Таким образом изобретены рондо, баллада и триолет.

«О старой русской словесности»



Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье, который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем; народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо; народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия; ужели весь сей народ должен отвечать за произведения нескольких писателей, большею частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении. Но нравственное чувство, как и талант, дается не всякому. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности ...»



Не хочу оправдывать нашего равнодушия к успехам отечественной литературы, но нет сомнения, что если наши писатели чрез то теряют много удовольствия, по крайней

мере, язык и словесность много выигрывают. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения XVIII столетия? Общество m-mes du Deffand [Дюдефан], Boufflers [Буфлер], d'Erinay [д'Эпине], очень милых и образованных женщин. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.

«О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»



Французские критики имеют свое понятие о романтизме. Они относят к нему все произведения, носящие на себе печать уныния или мечтательности. Иные даже называют романтизмом неологизм и ошибки грамматические. Таким образом Андрей Шенье, поэт, напитанный древностью, кое-го даже недостатки проистекают от желания дать французскому языку формы греческого стихосложения, — попал у них в романтические поэты.



Lamartine [Ламартин] скучнее Юнга и не имеет его глубины, Beranger [Беранже] не поэт, V. Hugo [В. Гюго] не имеет жизни, т. е. истины; романы A. Vigny [А. де Виньи] хуже романов Загоскина, журналы французские — невежды, их критики почти не лучше наших. XIX век, в сравнении с XVIII — в грязи (разумею, во Франции). Проза едва-едва выкупает гадость того, что зовут они поэзией.

(Письмо к Погодину, 1832 г.)



Рассматривая бесчисленное множество мелких стихотворений, коими наводнена была Франция в конце XVI столетия, нельзя не сознаться в бесплодной ничтожности сего мнимого изобилия.

«О старой русской словесности»



Благодаря французам, мы не понимаем, как драматический автор может совершенно отказаться от своего образа мыслей.

(Письмо к Раевскому, 1827 г.)



Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим седидам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей.

«Вольтер»



Всем известно, что французы народ самый антипоэтический.



Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не ходила.



Долгое время французы пренебрегали словесностью своих соседей. Уверенные в своем превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писателей иностранных по мере их большего или меньшего отдаления от французских привычек и от правил, установленных французскими критиками; переводя их, они никогда не думали быть вер-

ными своим подлинникам, напротив, тщательно их преобразовывали. Во французских переводах, изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы не находилась неизбежная фраза: «мы думали угодить публике и с тем вместе оказать услугу и нашему автору». И в уверенности, что оказывает услугу публике и самому автору, переводчик исключает из книги места, которые могли бы оскорбить вкус образованного французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто, кого и перед кем извинял таким образом! И вот к чему ведет невежественная страсть к народности!

«О Мильтоне...»



Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV. В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого «восстановления» (restoration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе. Долгое время покорствував своенравным уставам, давшим ей слишком стеснительные формы, она ударилась в крайнюю сторону, и забвение всяких правил стала почитать законною свободой. Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собою уничтожилась. Почувствовали, что цель художества есть идеал, а не нравоучение. Но писатели французские поняли одну только половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т. е. идеалом! Прежние романисты представляли человеческую природу в какой-то жеманной напыщенности; награда добродетели и наказание порока были непременно условием всякого их вымысла; нынешние, напротив, любят выставить порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только 2 струны: эгоизм и тщеславие. Таковой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие, и

вскоре так же будет смешон и приторен, как чопорность и торжественность романов Арно и г-жи Котен. Покамест он еще нов, и публика, т. е. большинство читателей, с непривычки видит в нынешних романистах глубочайших знатоков природы человеческой. Но уже «словесность отчаяния» (как назвал ее Гете), «словесность сатаническая» (как говорит Соувей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и проч.— эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»



Мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приблизились кротостью духа, сладостью красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя. В позднейшие времена неизвестный творец книги «О подражании Иисусу Христу»¹, Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени принадлежат к сим избранным, которых ангел Господний приветствовал именем «человеков благоволения».

«Об обязанностях человека». Сочинение Сильвио Пеллико



Нигде, может быть, многосторонний гений Шекспира не отразился с таким многообразием, как в Фальстафе, коего пороки, один с другим связанные, составляют забавную, уродливую цепь, подобную древней вакханалии.

«Шайлок, Анджело и Фальстаф»



Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, пороков; обстоятельства раз-

¹ Автором книги считается немецкий религиозный писатель Фома Кемпийский (1379?—1471).

вивают перед зрителем их разнообразные, многосложные характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства.

«Шайлок, Анджело и Фальстаф»



Если иногда герои Шекспира выражаются в его трагедиях как конюхи, то нам это не странно, ибо мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди.

«О драме»



Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробопателей людьми веселыми и шутивными, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение.

«Гробовщик»



Действие Вальтера Скотта ощутительно во всех отраслях ему современной словесности. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста. Он указал им источники совершенно новые, не подозреваемые прежде, несмотря на существование исторической драмы, созданной Шекспиром и Гете.

(Об «Истории русского народа» Полевого)



Вальтер Скотт увлек за собою целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея!

(О романе Загоскина «Юрий Милославский»)



Главная прелесть романов W. Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure [напыщенность] французской трагедии, не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité [достоинство] истории, но современно, но домашним образом.



Лорд Байрон, прихотью удачной,
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

«Евгений Онегин»



Гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уж не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чальд-Гарольда.

(Письмо к Вяземскому, 1824 г.)



Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что он из нее сделал!



Байрон мало заботился о планах своих произведений, или даже вовсе не думал о них. Несколько сцен, слабо между собою связанных, было ему достаточно для бездны мыслей, чувств и картин.



Вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказанный им местами в своих творениях. Может

быть даже, что скептицизм сей был только временным, своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной.



Горестно видеть, что некоторые критики вмешивают в мелочные выходы и придирки своего недоброжелательства или зависти к какому-либо известному писателю намеки и указания на личные его свойства, поступки, образ мыслей и верование. Душа человека есть недоступное хранилище его помыслов: если сам он таит их, то ни коварный глаз неприязни, ни предупредительный взор дружбы не могут проникнуть в сие хранилище. И как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности, как и добродетели.



Истинный талант доверяет более собственному суждению, основанному на любви к искусству, нежели малообдуманному решению записных аристархов.

«Баратынский»



Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию, и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных.



У нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было — непростительная слабость.

(Письмо к Погодину, 1832 г.)



Критики наши говорят обыкновенно: хорошо, потому что прекрасно; а это дурно потому, что скверно. Отселе их никак не выманишь.



Литература кой-какая у нас есть, а критики нет.

(Письмо к Бестужеву, 1825 г.)



Состояние критики само по себе доказывает степень образованности всей литературы вообще. Если приговоры журналов достаточны для нас, то из сего следует, что мы не имеем еще нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах.



Критики, по-настоящему, у нас еще не существует: несправедливо было бы нам и требовать оной. У нас и литература едва ли существует, и на нет — суда нет, говорит неоспоримая пословица. Если публика может довольствоваться тем, что называется у нас критикой, то это доказывает только, что мы еще не имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах.



Наши поэты не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики; напротив: едва заметим в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оного, уже тотчас спешим приветствовать его титулом гения за гладкие стишки и нежно благодарим его в журналах от имени человечества; неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гете и Байрона: добродушие смешное, но безвредное.

«Баратынский»



Признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем.

«Египетские ночи»



Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты этого не знают, тем хуже для них.

(Там же)



Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения; а господа NN все-таки презрительны, несмотря на то, что в своих книжках они проповедуют благородную гордость, и что они свои сочинения посвящают не доброду и умному вельможе, а какому-нибудь бестии и плуту, подобному им.

«Мысли на дороге»



Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвalebным объявлением заманить покупателей. Ныне последний из писаек, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безымянные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете.

(Там же)



Некоторые писатели ввели обыкновение весьма вредное литературе: не отвечать на критики. Редко кто из них отзо-

вется и подаст голос, и то не за себя. Разве и впрямь они гнушаются своим братом литератором?



Мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит она на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиним умолкнул голос лести, а как он льстил?.. Об нашей-то лире можно сказать, что Мирабо сказал о Сиесе: *Son silence est une calamité publique*.¹ Иностранцы нам изумляются — они отдают нам полную справедливость, не понимая, как это сделалось. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными.

(Письмо к Бестужеву, 1825 г.)



Дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей. Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожил на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего — так служи, да не сочиняй.

(Письмо к Рылееву, 1825 г.)



У нас периодические издания не суть представители различных политических партий (которые в России и не существуют), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее, в некоторых случаях общее мнение имеет нужду быть управляемо.

¹ Его молчание — общественное бедствие (фр.).



Журналы наши, как и везде, правильно и неправильно управляют общим мнением.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»



У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, и большею частью по личным расчетам.

«Баратынский»



Если бы слово не было общею принадлежностью всего человеческого рода, а только миллионной части оно, то правительства необходимо должны были бы ограничить законами права мощного сословия людей говорящих. Но грамота не есть естественная способность, дарованная Богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек безграмотный не есть урод и не находится вне вечных законов природы. И между грамотеями не все равно обладают возможностью и самою способностью писать книги или журнальные статьи. Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный из всего народонаселения. Аристократия самая мощная, самая опасная, есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. Мысль — великое слово! Что же и составляет величие человека, как не

мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах законов, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом. Но мысль уже стала гражданином, уже отвечает за себя, как скоро она родилась и выразилась. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство в праве не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи, хотя строки оной начертаны пером, а не тиснуты станком типографическим. Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона. Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно. Законы против злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекают. Одна цензура может исполнить то и другое.

«Мысли на дороге»



Было время — слава Богу, что оно прошло и, вероятно, уже не возвратится, — что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной.

(Там же)



Правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью.

«Александр Радищев»



Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смиренны и безответны, но даже сами от себя следуют духу правительства, но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче, даже и в последнее пятилетие царствования императора Александра, когда вся литература

сделалась рукописною, благодаря Красовскому¹ и Бирукову... Одно спасение нам, если государь успеет сам прочитать и разрешить.

(Письмо к Давыдову, 1836 г.)



Цензура не должна проникать все ухищрения пишущих. «Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не позволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону» (Устав о цензуре, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и законную свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей цензуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону. Нелепое, если оно просто нелепо, а не заключается в себе ничего противного вере, правительству, нравственности и чести личной, не подлежит уничтожению цензуры. Нелепость, как и глупость, подлежит осмеянию общества и не вызывает на себя действия закона. Просвещенный отец семейства не даст в руки своим детям многих книг, дозволенных цензурою; книги пишутся не для всех возрастов одинаково. Некоторые моралисты утверждают, что и восемнадцатилетней девушке нельзя позволить чтение романов: из того еще не следует, чтоб цензура должна была запрещать все романы. Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного, а не докучливая нянька, следующая по пятам шаловливых ребят.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»

¹ Красовский Александр Иванович (1776—1857) — цензор, прославившийся мракобесием, так что само его имя стало нарицательным; он запрещал стихотворения любовного содержания, если они были написаны в великом посту, и статьи о вредных грибах, ввиду того, что грибы — постная пища, и писать об их вреде — значит распространять неверие; почти о каждой книге, рассмотренной цензурным комитетом, он писал свое особое мнение о том, что оное «безопаснее было бы запретить» и т. д.

ЗАКОНЫ. ПОЛИТИКА. ВОСПИТАНИЕ



Привычка — душа держав.

«Борис Годунов»



Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества.

«Капитанская дочка»



Должно стараться иметь большинство голосов на своей стороне: не оскорбляйте же глупцов.



Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?

«Из Пиндемонти»



Разве народ английский участвует в законодательстве? Разве власть не в руках малого числа? Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?



Несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоды новейшего просвещения, сильно колебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посредности образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

«Джон Теннер»



Американские дикари все вообще звероловы. Цивилизация европейская, вытеснив их из наследственных пустынь, подарила им порох и свинец: тем и ограничилось ее благотворное влияние.

(Там же)



Паситесь, мирные народы,
Вас не пробудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремущками да бич.

«Изыде сеятель»



Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестанет скоро бояться таинственной власти и начнет тщеславиться своими сношениями с государем.



Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Иль самовластье, иль тиран.

«К морю»



Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

«Друзьям»



Mais il ne faut pas que le peuple s'accoutume aux émeutes,
et les émeutes — à sa présence¹.

(Письмо к Осиповой, 1831 г.)



Закон не должен быть пугало из тряпицы,
На коем наконец садятся уже птицы.

«Анджело»

¹ «Но нельзя допускать, чтобы народ привыкал к бунтам, а бунтовщики — к появлению государя» (фр.). (ПСС. Т. 14. С. 201. Пер. — с. 433).



Лишь там над царскою главой
Не слышится людей стenanье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье,
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит.

«Вольность»



Учитесь, о цари!
Ни наказанья, ни награды,
Ни мрак темниц, ни алтари —
Неверные для вас ограды. —
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут верной стражей трона
Народов вольность и покой.

(Там же)



Владыки! вам венец и трон
Дает закон, а не природа —
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

(Там же)



Не должен царский голос
На воздухе теряться по пустому;
Как звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.

«Борис Годунов»



Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержатъ народ.

(Там же)



Всегда народ к смятенью тайно склонен.

(Там же)



Надлежит народную молву
Исследовать прилежно и бесстрастно.

(Там же)



Милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

(Там же)



Бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.

(Там же)



Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых.
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше.

(Там же)



Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия.



За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык.

«Герой»



В старину думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения — мысль не только не основательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности.

«Капитанская дочка»



Divide et impera!¹ — есть правило государственное, не только Макиавеллическое (принимаю это слово в его общенародном значении).



Les moyens avec lesquels on accomplit une révolution, ne sont plus ceux qui la consolident. — Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon. (La Révolution incarnée).²



Заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность.

«Александр Радищев»

¹ Divide et impera! (лат.) — Разделяй и властвуй!

² «Средства, которыми совершают переворот, не те, которыми его укрепляют. — Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон. (Воплощенная революция)» (фр.). (Пушкин А. С. Собрание сочинений в одном томе. М., Художественная литература, 1984. С. 519).



Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость, но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству.



Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.



Дикость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим.



Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждого сословия, но смеяться над сословием потому только, что оно такое сословие, а не другое, нехорошо и непозволительно.



Всякое состояние имеет свою часть и свою выгоду; мы мешаем той и другой, когда оставляем то состояние, в котором родились.

«Сцены из рыцарских времен»



Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требует его возвышения.



Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.¹

¹ «Подчеркивать пренебрежение к своему происхождению — черта смешная в выскочке и низкая в дворянине» (фр). Здесь Пушкин приводит слова Лабрюйера.



Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?



Что составляет дворянство в республике? Богатые люди, которыми народ кормится. А в государстве? Военные люди, которые составляют войско государю. Чем кончается дворянство в республике? Аристократией прав. А в государстве? Рабством народа.



Что такое потомственное дворянство? Сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами, касательно собственности и частной свободы. Кем? Народом или его представителями. С какою целью? С целью иметь мощных защитников, или близких и непосредственных к властям представителей. Какие люди составляют сие сословие? Люди, которые имеют время заниматься чужими делами. Кто сии люди? Отменные по своему богатству или образу жизни. Почему так? Богатство доставляет способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву *du souverain*; образ жизни, т. е. не ремесленный или земледельческий, ибо все сие налагает на работника или земледельца различные узы... Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству, чести вообще. Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить или задуть. Нужны ли они в народе так же, например, как трудолюбие? Нужны, и дворянство — *la sauvegarde* трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества.



Чувство приличия зависит от воспитания и других обстоятельств. Люди светские имеют свой образ мыслей, свои предрассудки, непонятные для другой касты. Каким образом растолкуете вы мирному алеуту поединок двух французских офицеров? Щекотливость их покажется ему чрезвычайно странною, и он чуть ли не будет прав.



И нищий независимее поденщика.

(Письмо к Нашокину, 1834 г.)



Чины сделались страстью русского народа. Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России.



Уничтожение чинов (по крайней мере гражданских) представляет великие выгоды, но сия мера влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение постановлений, освященных временем и привычкою.



Предполагать унижение в обрядах, установленных этикетом, есть просто глупость... Мы всякий день подписываемся покорнейшими слугами — и, кажется, никто из этого еще не заключал, чтобы мы просились в камердинеры.

«Мысли на дороге»



Государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных; но этикет есть также закон; к тому же он при дворе необходим, ибо всякому, имеющему честь приближаться к царским особам, необходимо знать свою обязанность и границы службы. Где нет этикета, там придворные в

поминутном опасении сделать что-нибудь неприличное. Не-хорошо прослыть невежею, неприятно казаться и подслуж-ливым выскочкою.

«Мысли на дороге»



Придворные обычаи, соблюдаемые некогда при дворах наших царей, уничтожены Петром Великим при всеобщем перевороте. Екатерина II занялась и сим уложением, и уста-новила новый этикет. Он имел перед этикетом, наблюдае-мым в других державах, то преимущество, что был основан на правилах здравого смысла и вежливости общепонятной, а не на забытых преданиях и обыкновениях, давно изменив-шихся.

(Там же)



Воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания, есть корень всякого зла.

(Записка о народном воспитании)



В детях, одаренных игривостью ума, склонность ко лжи не мешаёт искренности и прямоте.



В России домашнее воспитание есть самое недостаточ-ное, самое безнравственное. Ребенок окружен одними холо-пами, видит гнусные примеры, своевольничает или рабству-ет, не получает никаких понятий о справедливости, о взаим-ных отношениях людей, об истинной чести.



С послушной куклою дитя .
Приготовляется шутя
К приличию — закону света,

И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

«Евгений Онегин»



Воспитание иностранных университетов, несмотря на все свои неудобства, не в пример для нас менее вредно вос-питания патриархального.

(Записка о народном воспитании)



Молодой человек, не воспитанный в государственном училище, вступая в службу, не получает вперед никаких вы-год и не имеет права требовать экзамена.

(Там же)



Уничтожение телесных наказаний [в школе] необходи-мо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чес-ти и человеколюбия. Не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом. Слишком жесто-кое воспитание делает из них палачей, а не начальников.

(Там же)



За возмутительную рукопись положить исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказы-вать юношу или взрослого человека за вину отрока есть де-ло ужасное и, к несчастью, слишком у нас обыкновенное.

(Там же)



Во всех почти училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах. Все это отвлекает от учения, приучает

детей к мелочным успехам и ограничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограниченные.

(Записка о народном воспитании)



История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. — К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря [Цезаря], превознесенного 2000-ми лет; но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны.

(Там же)



Изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притуленного однообразной пестротой настоящего, «ежедневного».

(О романе Загоскина «Юрий Милославский»)



Изучение новейших языков должно в наше время заметить латинский и греческий — таков дух века и его требований.

(Письмо к Бестужеву, 1825 г.)



Кажется, что языки слишком много занимают времени. К чему, например, 6-летнее изучение французского языка, когда навык света и без того слишком уже достаточен? К

чему латинский и греческий? Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?

(Записка о народном воспитании)



Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию.

(Там же)

ЖЕНЩИНА. ЛЮБОВЬ. СЕМЬЯ



Не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостью чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами? Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II, и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые. Бог ведает, почему.



Что может быть важней
На свете женщины прекрасной?

(К. А. Г. Родзянко.)



Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью, столь пленившею г-жу Сталь.

«Евгений Онегин»



Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но prude не переведено и не вошло еще в употребление. Слово это означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о чести (женской) — недоτροгу. Таковое свойство предпола-

гает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилой женщине позволено многое знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае, *прюдство* или смешно, или несносно.



Женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... Исключения редки.



Нечисто в них¹ воображенье,
Не понимает нас оно,
И признак Бога, вдохновение,
Для них и чуждо, и смешно.

«Разговор книгопродавца с поэтом»



Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей.



Женщинам нравится ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый.

«Метель»

¹ В женщинах.



Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто
смотрит на это равнодушно.

«Арап Петра Великого»



Первый обожатель возбуждает чувствительность женщины, прочие бывают едва замечены. Так в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше.



Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись!

«Цыгане»



Долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской.

«Арап Петра Великого»



Разве можно верить любви? Разве существует она в женском легкомысленном сердце?

(Там же)



Тайна какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу.

«Метель»



Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.

«Цыгане»



Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука —
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь.

«Кавказский пленник»



Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям.

«Евгений Онегин»



Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия...

«Каменный гость»



Все призрак, ложь и сон —
И мудрость, и народ, и слава.
Что ж истинно? Одна забава,
Поверь, одна любовь не сон.

«Послание Лиде»



В молодые лета розы нам —
Дороже лавров Геликона.

«Разговор книгопродавца с поэтом»



Любовь одна веселье жизни хладной!
Любовь одна мучение сердец!

Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.

«Любовь одна — веселье жизни холодной»



Нас пыл сердечный рано мучит,
Как говорит Шатобриан,
Не женщина любви нас учит,
А первый пакостный роман.

«Евгений Онегин»



Кому судьбою неременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил на зло вселенной.

(Там же)



Любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:
Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.

(Там же)



Иногда разлуки час
Живее самого свиданья.

«Последние цветы»



Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели!

«К Аглае»



Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,

И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

«Евгений Онегин»



Je vous observerai seulement, que moins on aime une femme
et plus on est sûr de l'avoir.¹

(Письмо к Л. С. Пушкину, 1822 г.)



Любовь без надежд и требований трогает сердце жен-
ское вернее всех расчетов обольщения.

«Арап Петра Великого»



Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев, скучаем и томимся.

«Борис Годунов»



Не только первый пух ланит,
Да русы кудри молодья,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.

«Полтава»



Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас.

«Кавказский пленник»

¹ «Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею» (фр.). (ПСС. Т. 13. С. 49. Пер.— с. 524).



Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньем отвечать,
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать.

«Кавказский пленник»



Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.

«Руслан и Людмила»



Ничто так не воспламеняет любви, как одобрительное
замечание постороннего.

(Там же)



Любовь слепа и, не доверяя себе, торопливо хватается за
всякую опору.

(Там же)



Без разделенья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.

(Там же)



Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые
молодые поколения; один отец семейства смотрит без за-
висти на молодость, его окружающую.

(Письмо к Нашокину, 1836 г.)



Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату.

«К Аглае»



Есть время для любви,
Для мудрости — другое.

«Фавн и пастушка»



Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своеволие иль порывы
И запоздалые отзвывы:
Смирненные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.

«Евгений Онегин»



Жалок тот, кто без искусства
Души возвышенные чувства,
Прелестной веруя мечте,
Приносит в жертву красоте.

(Там же)



Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем, и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу однако ж проклиная),

Всегда нахмурен, молчалив,
Сердит и холодно ревнив!

«Евгений Онегин»



Жена и дети, друг, поверь — большое зло:
От них все скверное у нас произошло!

«Послание цензору»



Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы.

(К А. Г. Родзянко)

РОССИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК. РУССКАЯ ИСТОРИЯ



Россия слишком мало известна русским. Ее история, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять, в окончательные годы, умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству.



Мы так положительны, что прошедшее для нас не существует: Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но едва ли мы выслушали его.



Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени князя Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья; со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью, и что дети их бегают в красной рубашке.



В России... память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок.

«Евгений Онегин»



Мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.

«Предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»



Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые Бог знает чем.

«Роспавлев»



Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце наше пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

«Набросок»



Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны.

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»



Какой гордости ожидать от народа, который пишет на памятниках: «Гражданину Минину и князю Пожарскому»?.. Отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!



Неуважение к именам, освященным славою (первый признак невежества и слабоумия), к несчастью, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удалством.

«Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...»



Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.

«Евгений Онегин»



Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения.

«Мысли на дороге»



Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство — больше ничего.

«Евгений Онегин»



Сокровища родного слова,
Заметят важные умы,
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.

(Там же)



Давно бы нам догадаться: мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора,

ни политики, ни литературы. Ходишь по ногам, как по ковру, извиняешься — вот уже и замена разговору.

(Письмо к Вяземскому, 1834 г.)



У нас нова рождением знатность;
И чем новее, тем знатней.

«Моя родословная»



Есть достоинства выше знатности — именно достоинства личные. Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят все наши старинные родословные.



Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди-дурака или балом двоюродной сестры.



Наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у нас не существует.



Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

«Евгений Онегин»



Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческого. Но обеднение Москвы доказывает и другое — обеднение русского дворянства, проис-

шедшее частью от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, частью от других причин.

«Мысли на дороге»



Петербург — прихожая, Москва — девичья, деревня же — наш кабинет.



Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силою.

«Мысли на дороге»



Москва доньше центр нашего просвещения.

«Торжество дружбы»



Мы все должны
Признаться, вкуса очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах).

«Евгений Онегин»



Сладкозвучнейшие греческие имена... употребляются у нас только между простолюдниками.

(Там же)



Отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться.

«О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»



Недоброжелательство — это черта наших нравов. В народе выражается она насмешливостью, в высшем кругу невниманием и холодностью.



Напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.



Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья.

«Борис Годунов»



Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здоровье, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз, и дев,
Но нравится их жалобный напев.

«Домик в Коломне»



Несчастье жизни семейственной есть отличительная черта в нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный.

«Мысли на дороге»



Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

«Зимняя дорога»



Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодцы и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка.

«Капитанская дочка»



Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступки и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна; проворство и ловкость удивительны.

«Мысли на дороге»



Наш брат русак без сабли обойдется.

«Борис Годунов»



Никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу.

«Рославлев»



Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты.

«Барышня-крестьянка»



Наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это.

«Евгений Онегин»



Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»



У нас в России государственные звания находятся в таком равновесии, которое предупреждает всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство в особенности, кажется, ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские не способен ни к какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности; но выказывать его неблагоразумно.



В России нет человека, который бы не имел собственнogo жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по несколько раз в день... Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения... Благо-состояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени. и без того уже довольно деятельного.



Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника; но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного.



Звание помещика есть та же служба.



Власть помещиков в том виде, как она теперь существует, необходима для рекрутского набора. Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрутов. Вот одна из тысячи причин, повелевающих нам присутствовать в наших поместьях, а не разоряться в столицах под предлогом усердия к службе, но в самом деле их единой любви к рассеянности и чинам.



Карамзин был убежден в необходимости для России самодержавия, вне коего нет, или по крайней мере долго, долго не будет для нее безопасности.



Со временем восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно.



Рекрутство наше тяжело, лицемерить нечего... Но может ли государство обойтись без постоянного войска? Полуме-ры ни к чему доброму не ведут.



Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство падшее по мании царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

«Деревня»



Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян.



Ныне, когда общее справедливое негодование и старая народная вражда, долго растрavляемая завистью, соединила всех нас противу польских мятежников, озлобленная Европа нападает поамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой — конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны.

(Письмо к Бенкендорфу, 1831 г.)



Чины в России необходимость: молодому дворянину необходимо служить хоть для одних станций, где без них не добьешься лошадей.



Вышел указ о русских подданных, пребывающих в чужих краях. Он есть явное нарушение права, данного дворянству Петром III; но так как допускаются исключения, то и будет одною из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно, к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства.

«Из дневника»



Указ об экзаменах — мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому

просвещению и гражданской администрации, вытеснив все новое поколение в военную службу. А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленности для профессоров.



Дороги в России (благодаря пространству) хороши, и были бы еще лучше, если бы менее об них заботились губернаторы.



Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка.



Язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.

«О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»



Жеманство и напыщенность более оскорбляют, чем простонародность. Откровенные, оригинальные выражения простоллюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы общую улыбку.



Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава Богу, не искажающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре. Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирам: они говорят удивительно чистым и правильным языком.



Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали.

(Письмо к Вяземскому, 1823 г.)



Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка; критики наши напрасно ими презирают.



Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются, грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого.

«Российская Академия»



Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

«Евгений Онегин»



Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,

Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

(Там же)



Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных, и леность наша охотнее выражается на языке чуждом, механические формы которого давно уже известны.

«О причинах, замедливших ход нашей словесности...»



Екатерина, стремившаяся во всем установить закон и неизблемый порядок, хотела дать уложение и русскому языку. Академия, повинувшись ее наказу, тотчас приступила к составлению словаря.

«Российская Академия»



Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются с Словарем Российской Академии.

«Евгений Онегин»



Действительный глагол с отрицательною частицею требует не винительного, а родительного падежа; например: я не пишу стихов. Но возьмем следующее предложение: я не могу вам позволить начать писать *стихи*, а уж конечно не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? Не думаю.



Едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык.

«О предисловии г-на Лемонтэ к переводу басен И. А. Крылова»



A mon avis rien n'est plus difficile que de traduire des vers russes en vers français, car vû la concision de notre langue, on ne peut jamais être aussi bref.¹

(Письмо к Голицину, 1836 г.)



Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою, история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского запада. Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом, и события жизни человеческой были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение — не алгебра; ум человеческий, по простонародному выражению — не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно предвидеть ему случая.



России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары, не осмелясь оставить у себя в тылу поработленную Русь, возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа, в отношении России, всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна.

«О старой русской словесности»

¹ «По-моему, нет ничего труднее, как переводить русские стихи французскими, ибо, при сжатости нашего языка, никогда нельзя быть столь же кратким» (*фр.*). (ПСС. Т. 16. С. 184. Пер. — с. 395).



Татары не походили на Мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля; несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили драгоценные, полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей словесности.

(Там же)



В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей истории, следственно и просвещением.



Иностранцы, утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятие о чести, очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности пожертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри.



Феодализм мог бы развиваться, как первый шаг учреждений независимости (общины — были бы второй), но он не успел. Он рассеялся во времена татар; был подавлен Иоанном IV. — Место феодализма заступила аристократия, а могущество ее в междоусобице возросло до высочайшей степени. Она была наследственная — отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор,

а Языков и меньшее дворянство уничтожили местничество и боярство. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня.



Какое время силы нашего боярства? Во время уделов, когда удельные князья сами сделались боярами. Когда пало боярство? При Иоаннах, которые к одному местничеству не дерзнули прикоснуться.

(Там же)



Мнение митрополита Платона о Дмитрие Самозванце, будто бы воспитан у иезуитов, удивительно детское и романтическое. Всякий был годен, чтобы разыграть эту роль. Доказательство после смерти Отрепьева: Тушинский вор и проч.



Какое поле эта новейшая русская история! И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано, и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять! — Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности).

(Письмо к Корфу, 1836 г.)



Войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

«О старой русской словесности»



Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого.

Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на юге, обеспечила новые завоевания на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем.



О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?

«Медный всадник»



В искушениях долгой кары
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь.

«Полтава»



Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые — нередко жестоки, свое нравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего; вторые — вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика.



Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Аристократия после него неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян.



Бирон имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.

(Письмо к Лажечникову, 1835 г.)



Памятниками неудачного борения аристократии с деспотизмом остались только два указа Петра III о вольности дворян, коими предки наши столько гордились, и коих, справедливее, должны были бы стыдиться.



Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали.



Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости; народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любимцами; покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, фиглярство в сношениях с философами ее столетия, и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от нареkania России.



Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие. «Наказ» ее [Екатерины II] читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы

поставить ее на ряду с Титами и Траянами. Но перечитывая сей лицемерный «Наказ», нельзя воздержаться от праведного негодования.



Монархия, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии.

«Александр Радищев»



Императрица, долго смотревшая на учения французских философов, как на игры искусных бойцов, и сама их ободравшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов.

(Там же)



Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их [мартинистов] от поколения, которому они принадлежали.

(Там же)



Нельзя отрицать, чтобы многие из них [мартинистов] не принадлежали к числу недовольных, но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франкмасонских ужинах.

(Там же)



Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал,

И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

«Наполеон»



Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, что оно звучит русским звуком!



Время [1812], незабвенное время славы и восторга, как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единомыслием мы соединяли чувства гордости и любви к государю! А для него — какая была минута!

«Метель»



Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?

(Там же)

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ. НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ



Все тленно под луною;
Как волны следом за волною,
Проходят царства и века.

«Усы»



Несчастные, страстей и немощей сыны,
Мы все на страшный гроб, родясь, осуждены;
Всечасно бранных уз готово разрушенье;
Наш век — неверный день; смерть — быстрое
затмение.

«Безверие»



Мечтам и годам нет возврата.
«Евгений Онегин»



Вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

«Цыгане»



Кто раз любил, уж не полюбит вновь;
Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно.

«Уныние»



Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смиришь:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

«Если жизнь тебя обманет»



Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.

(К П. П. Каверину)



Amis, la vie est un passage
Et tout s'écoule avec le temps...¹

«Couplets»



Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей пылких и чувствительных, если бы мы, по не-

¹ «Друзья, жизнь мимолетна,
И все уплывает вместе с временем...» (фр.).
(ПСС. Т. I. С. 221, строка 17. Пер.— с. 413).

счастью, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия XVIII столетия, она рассмотрена со всех сторон и оценена. То, что некогда слыло скрытным учением гиерофантов, было потом обнародовано, проповедано на площадях, и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидерота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменяются другими.

«Александр Радищев»



Время изменяет человека, как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют.

(Там же)



Кто применяться не умеет
К своим изменчивым годам,
Тот их несчастья лишь имеет.

«Стансы (Из Вольтера)»



Пока живется нам — живи.

(К П. П. Каверину)



До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

«Стансы Толстому»



Иметь восторженное чувство
Простительно в семнадцать лет.

«Евгений Онегин»



Пламенная младость
Не может ничего скрывать:
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.

(Там же)



И без речей рыдающая младость
Мягчит сердца людей,

«Анджело»



Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.

«Евгений Онегин»



Старость ходит осторожно
И подозрительно глядит:
Чего нельзя, и что возможно,
Еще не вдруг она решит.

«Полтава»



Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми
людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх че-
ловеческих достоинств и извинение всевозможных пороков.

«Выстрел»



Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

«Стансы Толстому»



Не лучше ли заранее привыкнуть к строгости зрелого воз-
раста и добровольно отказаться от увядающей молодости?

(Отрывок из романа в письмах, IX)



Умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще
новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя
будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи,
жены наши — старые хрычевки, а детки будут славные, мо-
лодые, веселые ребята, мальчики станут повесничать, а дев-
чонки — сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа
моя, не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы жи-
вы, будем когда-нибудь и веселы.

(Письмо к Плетневу, 1831 г.)



Увы, одной слезы довольно,
Чтоб отравить бокал!

«Слеза»



Страдать — есть смертного удел.

«Воспоминания в Царском Селе»



Нам должно дважды умирать.
Проститься с сладостным мечтаньем:

Вот смерть, ужасная страданием!
Что значит после — не дышать?

«Стансы (Из Вольтера)»



В цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний недостойн.

«Мне бой знаком — люблю я звук мечей»



Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот наслаждался через меру;
И всяк зевает, да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.

«Сцена из Фауста»



Le temps s'enfuit triste et barbare
Et tôt ou tard on va là-haut.
Souvent — le cas n'est pas si rare —
Hasard nous sauve du tombeau.¹

«Couplets»



Светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием — лени и благоприличию.

«Гости съезжались на дачу»

¹ «Время бежит, печальное и жестокое, —
И рано или поздно отправляешься на тот свет.
Иногда — это бывает не так уж редко —
Случай спасает нас от могилы» (фр.).
(ПСС. Т. I. С. 221, строка 25. Пер.— с. 413.)



В светском уложении правдоподобие равняется правде, а
быть предметом клеветы унижает нас в собственном мнении.

(Там же)



Смешон, участия кто требует у света!

«Ответ анониму»



Свет... Жестоких суждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует от них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья.

«К ***»



Навык света скоро сглаживает характер и делает души
столь же однообразными, как и головные уборы.

«Барышня-крестьянка»



Что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать?

«Станционный смотритель»



Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что позволяет в теории.

«Арап Петра Великого»



Все чувствуют необходимость разговора общего, но где его взять? И кто захочет выступить первый на сцену?



Светская вражда
Боится ложного стыда.

«Евгений Онегин»



Даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

(Там же)



Мы знаем, роскоши пустой
Почтенный мыслитель не ищет;
Смеясь над глупой суетой,
В чулане он беспечно свищет.

«Череп»



Il n'est rien de plus sage que de rester dans son village et d'arroser ses choux. Vieille vérité dont tous les jours je me fais l'application au milieu d'une existence toute mondaine et toute bouleversée.¹

(Письмо к Осиповой, 1832 г.)



Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали взыскательных невежд,

¹ «Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Старая истина, которую я ежедневно применяю к себе, посреди своей светской и суматошной жизни» (*фр.*). (ПСС. Т. 15. С. 21. Пер.— с. 313.)

Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьбы друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала.

«Уединение»



Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупую не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен.

(В альбом М. А. Щербинину)



Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.

«К другу стихотворцу»



Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай.

(Там же)



Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним.

«Евгений Онегин»



Блажен, кто ведал их¹ волненья
И наконец от них отстал;

¹ Страстей.

Блаженной тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь разлукой,
Вражду злословием; порой
Зевал с друзьями и женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.

«Евгений Онегин»



Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы.

«Гости съезжались на дачу»



Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит счастья.

«Мечтатель»



Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья,
Иль покровительства позор.

«Дружба»



Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, Боже!

«Евгений Онегин»



Люди (первый, каюсь, я)
От делать нечего друзья.

(Там же)



Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» Врете, подлецы: Он и мал, и мерзок — не так, как вы — иначе!

(Письмо к Вяземскому 1825 г.)



Всякая сторона великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради, или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов.

«Вольтер»



Гений имеет свои слабости, которые утешают посредственностью, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества.

(Там же)



Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным.



Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать,

Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они.

«Евгений Онегин»



На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

(Письмо к Вяземскому, 1826 г.)



Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»



О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что нам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не в рай.

«Евгений Онегин»



Люди, по большей части, самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы. Они редко терпят противоречия, никогда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость и, к ней привыкнув, уже не могут с нею расстаться.

(Письмо к Раевскому, 1824 г.)



Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней —
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.

«Евгений Онегин»



Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешек. Эгоизм может быть отвратителен, но он не смешон, ибо отменно благраумен. Однако, есть люди, которые любят себя с такою нежностью, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности.



Плач и стон
Стократ, конечно, лучше смеха,
Терпеть — великая утеха.

«Послание Лиде»



Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

«Евгений Онегин»



Кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой!

«Герой»



Кто чувствами в порочных наслажденьях
В молодые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет.

«Борис Годунов»



Ум ищет Божества, а сердце не находит.
Лишенный всех опор, отпадший веры сын,
Уж видит с ужасом, что в мире он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира...

«Безверие»



Тогда, беседа с оставленной душой,
О вера, ты стоишь у двери гробовой!

(Там же)



Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унылый дух и сердца ожиданье.

(Там же)



Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с ней несовместимо? Разве истина дана нам для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены на-

родами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто еще из нас не думал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, лишенным доныне света истинного. Так ли исполняем мы долг христианства? Кто из нас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, часто без обуви, крова и пищи, но оживленным теплым усердием? Какая награда их ожидает? Обращение престарелого рыбака, или странствующего семейства диких, или мальчика, а за тем нужда, голод, мученическая смерть. Кажется, для нашей холодной лености легче, взамен слова живого, выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты, чем подвергаться трудам и опасностям, по примеру древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров.

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»



Никто не может нас —
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть —
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветой.

«Борис Годунов»



Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

«Арап Петра Великого»



Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви.

«Александр Радищев»



Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко

всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного: но книга сия называется Евангелием — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром, или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.

«Об обязанностях человека». Сочинение Сильвио Пеллико



Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой.
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился,
И Богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.
«Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей!»
Нельзя быть проще и ясней!
Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных безумных лет.

«Евгений Онегин»



Жалок тот, в ком совесть нечиста.

(Там же)



Презирать суд людей нетрудно; презирать суд собственный невозможно.

(Письмо к Вяземскому, 1825 г.)



Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

«Евгений Онегин»



В тюрьме и в путешествии всякая книга есть Божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземе или в поспешном дилижансе! Скажу более, в таких случаях, чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечитать ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с установкою, с отдохновением; оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитывая места, вами пропущенные без внимания, и проч. Книга скучная представляет более развлечения.

«Мысли на дороге»



Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань.

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»



Это уж не ново, это было сказано — вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но все уже было сказано, все понятия выражены и повторены в течение столетий; что ж из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового на производит? Нет, не станем на него клеветать: разум неистощим в соображении понятий, как язык неисто-

щим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе; мысли же могут быть разнообразны до бесконечности.

«Об обязанностях человека». Сочинение Сильвио Пеллико



Счастливым резвым, молодым
Оставим страсти, заблужденья;
Живем мы в мире два мгновенья —
Одно рассудку отдадим.

«Стансы (Из Вольтера)»



N'oubliez jamais l'offense volontaire; peu ou point de
paroles et ne vengez jamais l'injure par l'injure.¹

(Письмо к Л. С. Пушкину, 1822 г.)



N'acceptez jamais de bienfaits. Un bienfait pour la pluralité du
temps est une perfidie — Point de protection, car elle asservit et
dégrade.²

(Там же)



Soyez froid avec tout le monde: la familiarité nuit toujours...³

(Там же)



Кому судьбою
Волненья жизни суждены,

¹ «Никогда не забывай умышленной обиды, — будь немногословен или вовсе молчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление» (фр.). (ПСС. Т. 13. С. 49. Пер. — с. 524).

² «Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего, предательство. — Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает» (фр.). (Там же.)

³ «Будь холоден со всеми, фамильярность всегда вредит...» (фр.). (Там же.)

Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.

«Полтава»



Кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед ли-
цом отечества и его неприятелем.

«Рославлев»



Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

«Памятник»



Не ужинать — святой тому закон,
Кому всего дороже легкий сон.

«Сон»



Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедроты полная угодна небесам.

«Подражания Корану»



Блажен, кто издали глядит на всех
И рот, зажав, смеется то над теми,
То над другими. Верх земных утех
Из-за угла смеяться надо всеми!
Но сам в толпу не суйся... или смех
Плохой уж выйдет: шутками одними
Тебя, как шапками, и враг, и друг,
Соединясь все закидают вдруг.

«Домик в Коломне»



Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел...
Кто странным сном не предавался;
Кто черни светской не чуждался;
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек!

«Евгений Онегин»



Всегда так будет и бывало,
Таков издревле белый свет:
Ученых много, умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет.

«Всегда так будет, как бывало»



Наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.

«Борис Годунов»



Рассудок в мире жить велит.

«Руслан и Людмила»



В глубоком знаньи жизни нет.

«Сцена из Фауста»



Чтение — вот лучшее учение.

(Письмо к Л. С. Пушкину)



Мы алчны жизнь узнать заране,
И узнаем ее в романе.

«Евгений Онегин»



Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами, другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения.



Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколень
Поэта приведет в восторг и умиление.

«Полководец»



Почтен, кто глупости людской
Решил запутанные споры,
Умел кто хитрости рукой
Переплестать между собой
Дипломатические вздоры
И править нашу судьбой.

(Послание к В. Л. Пушкину)



Блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит

Мгновенно прошипевшую змею;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом.

«Домик в Коломне»



Скептицизм во всяком случае есть только первый шаг
умствования.



Ученый без дарования подобен тому бедному мулле, ко-
торый изрезал и съел Коран, думая исполниться духа Маго-
метова.



От беды не отбожиться: что суждено, тому не миновать.

«Станционный смотритель»



Счастлив, кто мил и страшен миру,
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала.

(Послание к В. Л. Пушкину)



Нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен и в романе,
И там уж торжествует он.

«Евгений Онегин»



Что жизнь! Она отравлена унынием, пустыми желания-
ми, и что в ней, когда наслаждения ее истощены?



Глупость осуждения не столь заметна, как глупость по-
хвалы; глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и
это приписано разборчивости его вкуса, странности и т. п.
Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюмениля, и на
него смотрят с презрением, хотя в первом случае глупость
его выразилась яснее для человека мыслящего.



В наше время главный недостаток, отзывающийся во
всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда.
Редко случается критике указывать на плоды долгих изуче-
ний и терпеливых разысканий. Что же из того происходит?
Наши так называемые ученые принуждены заменять суще-
ственные достоинства изворотами более или менее удачны-
ми: порицанием предшественников, новизною взглядов,
приноровлением модных понятий к старым, давно извест-
ным предметам и пр. Таковые средства (которые, в некото-
ром смысле, можно назвать шарлатанством) не подвигают
науки ни на шаг, поселяют жалкий дух сомнения и отрица-
ния в умах незрелых и слабых, и печалят людей истинно
ученых и здравомыслящих.

«Словарь о святых»



Разговоры
Принять мы рады за дела.

«Евгений Онегин»



К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.

(Там же)



Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей.

(Там же)



Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.

«Граф Нулин»



Что слава мира? Дым и прах.

«Н. Н.»



Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа.

(Письмо к Рылееву, 1825 г.)



Нас издали пленяют слава, роскошь
И женская лукавая любовь.

«Борис Годунов»



Стократ блажен, кто предан вере,
Кто хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлег,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил.

«Евгений Онегин»



Грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,

Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

(Там же)



Остроумие давно в опале, как признак легкомыслия.



Все на свете имеет свою хорошую сторону.



Самого лучшего состояния нет на свете; но разнообразие спасительно для души.

(Письмо к Дельвигу, 1821 г.)



Черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с Портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

(К П. П. Каверину)



Душевных наших мук
Не стоит мир.

«19 октября 1825 г.»



Не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.

«Цыгане»



Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место.

«Пиковая дама»



Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

«Метель»



Для сердца нужно верить.

«Дориде»



Никогда
Со смехом ужас несовместен.

«Руслан и Людмила»



Счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под изданными шатрами
Живут мучительные сны!

«Цыгане»



Человеку сродно предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

«Капитанская дочка»



Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение.

«Дубровский»



Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения.

«История села Горюхина»



Право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей.

(Письмо к Вяземскому, 1825 г.)



Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать,
И презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

Но в полдень нет уж той отваги,
Порастрясло нас, нам страшней
И косогоры, и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега.
Под вечер мы привыкли к ней,
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

«Телега жизни»



Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы.

«Вольтер»



Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешон и отвратителен, когда мелкомыслие и невежество выражаются его языком.



О бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!

«Скупой рыцарь»



Уединенье
И праздность губят молодых людей.

(Там же)



В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности — ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча;
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит;
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

«Три ключа»



Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет.

«Элегия»



Чувство выздоровления — одно из самых сладостных.



Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.

«Евгений Онегин»



Труден первый шаг,
И скучен первый путь.

«Моцарт и Сальери»



Гений и злодейство
Две вещи несовместные.

(Там же)



Уверенность, вещал мудрец,
Сердец высоких отпечаток.

«Череп»



Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как это может быть глупо или несправедливо? Ведь это печатно.



В порочном сердце жизни нет.

«Прелестнице»



Говорят, что несчастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному.

(Письмо к Нашокину, 1834 г.)



Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

«Герой»



Ошибаться и усовершенствовать суждения свои сродно
мыслящему созданию. Бескорыстное признание в оном тре-
бует душевной силы.

(Письмо к Бестужеву, 1825 г.)



Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так
не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет
неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искрен-
ним — невозможность физическая. Перо иногда остано-
вится, как с разбега перед пропастью — на том, что посторон-
ний прочел бы равнодушно.

(Письмо к Вяземскому, 1825 г.)

**Избранные
МЫСЛИ и ОТРЫВКИ
из сочинений Н. В. Гоголя,
его писем и воспоминаний о нем**

РОССИЯ И РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК



Москва и Петербург

...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Станный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холода; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода; подавай Бог Петербург! А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще и до сих пор русская борода, а он — уже ловкий европеец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь-Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его прочь. Москва старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не поднимаясь с кресел, о том, что делается в свете. Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европой, раскланивается с заморским людом. Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды, зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец; на все глядит с расчетом и, прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что

уже хватает больше того, сколько находится в кармане: она не любит середины. Москва не смотрит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостинный двор; Петербург — светлый магазин, Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия.

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев общества. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами.

«Петербургские записки 1836 г.»



Русское слово

Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит оно его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света, и как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое поприще, — ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно, что писанное, не вырубливается топором. А уж куда бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вклепывает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы: одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами рассыпано на святой благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий на-

род, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенностью и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выражении его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово.

«М. Д.»¹



Русская брань

Ротозей Емельян и вор Антошка (лакеи Петуха) расправлялись отлично. Названия эти были им даны так, для поощрения. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк; но уж русский человек как-то без пряного слова не может обойтись. Оно ему нужно, как рюмка водки для сварения в желудок. Что ж делать? такая натура: ничего пресного не любит.

«М. Д.» Т. 2



Русский язык

Виноват! кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с со-

¹ Сокращения, используемые в тексте:

«М. Д.» — «Мертвые души»;

«М. Д.» Т. 1 — «Мертвые души», том 1;

«М. Д.» Т. 2 — «Мертвые души», том 2;

«В. М.» — «Выбранные места из переписки с друзьями».

хранением всех возможных произношений, — по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице; и даже физиономию сделают птичьей, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии. А вот только русским ничем не наделают, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем, какая взыскательность! Хотят, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою ниспустился вдруг с облаков, обработанный, как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода, но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудрее.

«М. Д.» Т. 2



Русская одежда

У братьев Платоновых так же, как и у зятя их Констан-жогло все слуги были садовники или, лучше сказать — слуг не было, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие, что без слуг можно и вовсе обойтись: подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей; что русский человек потуда хорош и расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне; но что, как только заберется в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестанет вовсе ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком немецким и клопы, и блохи несчетное множество. В этом, может быть, он был и прав.

«М. Д.» Т. 2



Русская подлая черта

Автор весьма сожалеет, занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уж русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя од-

ним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений.

«М. Д.» Т. 1



Русская оборотливость

Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас нет: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот; а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот; словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия — не здесь, а в тридевятиом государстве; а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его! просто, бери кисть, да и рисуй. Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приблизился к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагой под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке будь все небольшого чина — Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем делается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, — уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович», говоришь, глядя на него. «Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе!» думаешь себе.

«М. Д.» Т. 1

*Русская замашка*

Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходящим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? и что, вообще, оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка со своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке; или уж завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная, и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политическое держанье за белые ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе брэнчит на балалайке перед дворовою челядью, и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ? или, просто, жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи да шей с городским мягким пирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду? Бог весть — не угадаешь. Многие разное значит у русского народа почесывание в затылке.

«М. Д.» Т. I

*Русь*

Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу. Бедна природа в тебе, не развеселят, не испугают взоров дерзкие ее дива, венчанные дерзкими дивами искусства, — города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы, не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдаль вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные, ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города: ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая,

тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзуют и стремятся в душу, и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже голову осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразась во глубине моей; неестественною властью осветились мои очи... У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

«М. Д.» Т. I

*Русская песня*

Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздражающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти выются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому, при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и неприютные пространства, не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг, как следует, или он не Русский в душе.

«В. М.»

*Русская ширь*

И какой же Русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, не сказать иногда: «черт побори все!» его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и

сам летишь и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес, с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком; летит вся дорога не ведать куда в пропадающую даль; и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, — в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдаль, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, — что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо говорит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

«М. Д.» Т. 1



В чем наша сила

Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить! Что пишут теперь эти щелко-

перы! Пустит какой-нибудь из них книжку, и так вот все и бросятся на нее... Вот что стали говорить: «Крестьянин ведет уж очень простую жизнь; нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния...» Сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких набрались, и уж нет восемнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив как пузырь, — так хотят теперь и этих заразить. Да слава Богу, что у нас осталось хоть одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да, хлебопашец у нас всех почтеннее, — что вы его трогаете? Дай Бог, чтобы все были как хлебопашцы!

— Так вы полагаете, что хлебопашеством всего доходнее заниматься? — спросил Чичиков.

— Законнее, а не то, что доходнее. Возделывая землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственной, чище, благородней, выше. Не говорю — не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики, — того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей... Надобно полюбить хозяйство. Да поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска... да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах, да театрах! Дураки, дурачье, ослиное поколение! Хозяину нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты — все полнота. Одно это разнообразие занятий, — занятий, истинно возвышающих дух! Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения! Здесь, именно здесь, подражает Богу человек! Бог предоставил себе дело творенья, как высшее наслаждение, и требует от человека также, чтоб он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!..

«М. Д.» Т. 2



Наша распущенность

— Странно,— сказал Платонов,— отчего русский человек способен так задремать и закинуть, что если не согласишься во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей, и негодяем!

— От недостатка просвещения,— заметил Чичиков.

— Бог весть, отчего! — сказал Хлобуев.— Ведь вот мы и просветились. Я слушал лекции в университете, а что из того, что я был в университете? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать денег на всякие новые утонченности да комфорты, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? — Нет, ведь так и другие товарищи. Два, три человека извлекли себе настоящую пользу, да и оттого, может быть, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье да и выманивает деньги. Так из просвещения-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого не возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем жить от чего-то другого, а от чего, ей-богу, я не знаю.

— Причины должны быть,— сказал Чичиков.

Глубоко вздохнул бедный Хлобуев и продолжая так:

— Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой-то пропащий человек. Хочешь все сделать — и ничего не можешь. Все думаешь — с завтрашнего дня начнешь новую жизнь, с завтрашнего дня сядешь на диету; ничуть не бывало: к вечеру того же дня так объешься, что только хлопаешь глазами, и язык не ворочается. Как сова сидишь, глядя на всех. Право, и этак все.

— Да,— сказал Чичиков, усмехнувшись,— эта история бывает.

«М. Д.» Т. 2



На Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь — совершенно необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ни откуда никаких средств, а задает обед: и все обедающие говорят, что это последний, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после то-

го 10 лет — мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах, и так же задает обед, на котором опять все обедающие думают, что он последний, и снова все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму.

«М. Д.» Т. 2



В Русской природе то по крайней мере хорошо, что если немец, например, человек-баба, то он останется человек-баба на веки веков. Но Русский человек может иногда вдруг превратиться в человека-небабу. Выходит он из бабства тогда, когда торжественно, в виду всех, скажет, что он больше, как человек-баба, и сим только поступает в рыцарство, скидает с себя при всех бабью юбку и одевается в панталоны.

(Письмо к С. Т. Аксакову)



С Русским ли человеком не надеть добра на всяком поприще! Да его стоит только хорошенько попрекнуть, назвав его бабой и хомяком, загнать ему знакомую поговорку и сказать, что вот, де, говорит немец, что Русский человек ни на что не годен,— как из него уже в миг сделается другой человек.

(Письмо к М. М. Языкову)



Русского человека, покуда не рассердишь, не заставишь заговорить. Он все будет лежать на боку и требовать, чтобы автор попотчевал его чем-нибудь примиряющим с жизнью. Безделица! Как будто можно выдумать это примиряющее с жизнью.

(Письмо к С. П. Шевыреву)



О героях в русской жизни

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой (Чичиков) понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, что-

бы герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, — тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи! Какой гадкий!» Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека. Но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божественными доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушно-го стремления и самоотвержения, и мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга перед живым словом! подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов... Но к чему и зачем говорить о том, что впереди! Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всеми своей черед и место, и время. А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому, что пора, наконец, дать отдых бедному добродетельному человеку; потому, что праздно вращается на устах слово *добродетельный человек*; потому, что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем чем ни попало; потому, что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому, что лицемерно призывают добродетельного человека; потому, что не уважают добродетельного человека. Нет, пора, наконец, припречь и плутоватого... Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему же подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает: есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиономию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь

два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его *хозяин-приобретатель*. Приобретение — вина всего: из-за него произвелись дела, которым свет дает названия *не очень чистых*. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем; тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он казался всему городу, Манилову и другим людям, — и все были бы радешеньки, и приняли его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато, по окончании чтения, душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное; пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» говорит помещик приказчику: «я, брат, это знаю без тебя; да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого — я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для привлечения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств, а там имение бух с аукциона — и пошел помещик забываться по миру, с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

«М. Д.» Т. I



Кто виноват (в нашей распущенности) правительство или само общество

Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора ста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела, и до сих пор остаются также пустыни, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашей крышею, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радужным, родным приемом братьев, но какою-то холодной, занесенною выюгой, почтовою станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!»... Отчего это! Кто виноват? Мы, или правительство? Но правительство во все время действовало без устали. Свидетелем тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода, учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы — снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски-великодушном движении многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это ответствовано снизу?.. Дело ведь в применении, в уменьи приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определенен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желания применить его к делу тою именно стороною, какой нужно, какой следует, и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому — все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загроздить большею сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку. Словом, везде, куда ни обра-

щусь, вижу, что виноват применитель, стало быть, наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвование; не спросяся разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что, из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия, все бросил, и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту: пусть пограбит людей. Словом, у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбием, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма, и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался Русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбия своего на всех путях.

«В. М.»



Вера русского человека в правительство

В груди нашей заключается какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое — быть представителем Провидения на земле, и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступления.

«Театральный разъезд»



Как уловить черты русского прогресса

В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершается в полвека. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никак. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства в мне-

ниях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых новозаносных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений, — все это сбило и спутало до того у каждого его мнения о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России.

«В. М.»



Истинный патриотизм

Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет-таки и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться, да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается; в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком отдаленное еще ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже умных людей, то есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с нею можно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупницу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите России.

«В. М.»



Где лучше

Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит. Все, не исключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколоченном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных сквозь лживые призывы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образуются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продадут больше на европейских рынках.

«В. М.»



Так что ж нам делать

Грешит нынешний человек точно несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобилия своего собственного разврата, не от бесчувственности и не от того, чтобы хотел грешить, но от того, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не всем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник; от того и проповедь его роняется на воздух и люди глухи к словам его. Сказать: не крадите, не роскошничайте, не берите взятку, молитесь и давайте милостыню неимущим — теперь ничто.

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит косвенно, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чужое имущество, грабит и пускает по миру людей,— да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос, и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды; показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватит уже из-за этого взятку с своего же брата-чиновника; положим, этот чиновник был богат, но чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот с своей стороны насел на какого-нибудь заседателя или станového пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих. Да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье. Увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувственен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведения, а не от разврата.

Жизнь нужно показать человеку,— жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних; жизнь, оглянутаю не поверхностным взглядом светского человека, но возвышенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнание России посреди России.

«В. М.»

ОБ ИСКУССТВЕ



Цель искусства

Искусство уже в самом себе заключает свою цель. Стремление к прекрасному и высокому — вот искусство. Это неприменный закон искусства; без этого искусство — не искусство. А потому ни в каком случае не может быть оно безнравственно. Оно стремится непременно к добру, положительно или отрицательно: выставляет ли нам красоту всего лучшего, что ни есть в человеке, или же смеется над безобразием всего худшего в человеке. Если выставить всю дрянь, какая ни есть в человеке, и выставить ее таким образом, что всякий из зрителей получит к ней полное отвращение, спрашиваю: разве это уж не похвала всему хорошему? спрашиваю: разве это не похвала добру?

«Ревизор»



Реализм в искусстве

Чем выставлять дурное, зачем же не выставлять хорошее, достойное подражания?

Зачем? странный вопрос: зачем? Много можно сделать этаких «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни,— зачем это он сделал?

«Театральный разъезд»



О натурализме

В этом ныне бывшем перед ним портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета; это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это?» невольно вопрошал себя художник: «ведь это, однако же, натура, это живая натура; от чего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность — и видишь отвратительного человека? Почему же простая низкая природа является у одного художника в каком-то свете — и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто наслаждался, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкой, грязною, а, между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно, как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

«Портрет»



Об эффекте

XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, торопится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец, обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, их ложность и неуместность тотчас вид-

на всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполнителя; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия.

«Последний день Помпеи»



Талант и посредственность

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая как зеркало, отражая с одинаковой ясностью и темные, и светлые облака; у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

«Петербургские записки 1836 г.»



Поэзия

Поэзия есть чистая исповедь души, а не порождение искусства или хотения человеческого; поэзия есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появление слишком редко на земле. Опасно и вступать на этот путь другому. Многие даже из первокласснейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла; но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души.

(Письмо к Плетневу)



Тенденциозность в поэзии

Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает, и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.

«О Малороссийских песнях»



Поэту более следует углублять самую истину, чем *пре-
пираться* об истине. Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братьев. Нужно, чтобы в стихотворениях слышался сильный гнев *против врага людей, а не против самих людей.*

(Письмо к Языкову)



О музыке

Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихий восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души. Рассматривая мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку, — в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! Ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение,

этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть, при могущественном ударе смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронят слезы пред созданием таланта. О, не оставляй нас, божество наше!

«Скульптура, живопись и музыка»



Русская опера

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами, заряжая пищаль свою, зет старинную песню; а там на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы?

«Петербургские записки 1863 г.»



Значение «Одиссеи» Гомера

Думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волею Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовольствия, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя; когда воем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно-услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоя-

щий закон действий, как в массах, так и в отдельно взятых особах; словом, в это именно время Одиссея поразит величавою патриархальностью древнего быта, простою несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человека. В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того, как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

«В. М.»



Чтение лирического произведения

Прочесть как следует произведение лирическое — вовсе не безделица: для этого нужно долго его изучать; нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнившее его душу; нужно душою и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила — свидетель истинно растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии.

«В. М.»



Святость слова

Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство — словом, мало ли на что можно сослаться?.. Потомству нет дела до того, кто был виновен, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку, близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство

не примет в уважение ни кумовства, ни журналистов, ни собственной его бедности и затруднительного положения. Оно сделает упрек ему, а не им: «Зачем ты не устоял против всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призвание Божие; ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видал подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали? Зачем же быть ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?»

Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст наших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах.

Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку.

«В. М.»



Художник-подвижник

Иванов просил Бога, чтоб огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение (ко Христу), чтобы умилился и не христианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли серьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «сам же виноват: пусть бы большая картина шла своим чередом в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», — говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом и нет у него промежутков; не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и не насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего му-

жа, не любит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством и могла спасти от бедности и себя, и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова.

«В. М.»



Высокое призвание художника. (Наставление старика-инока своему сыну — молодому художнику)

У тебя есть талант; талант есть драгоценный дар Бога,— не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею! Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волнения мирского; во сколько раз творение выше разрушения; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны; во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое создание искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью,— не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой, небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дома в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызгнуто одною каплей грязи из-под колеса, и уже весь народ обступит его, указывает на него пальцем и толкует о его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды, ибо на будничных одеждах незаметны пятна.

«Портрет»

ЛИТЕРАТУРА



Наслаждение поэзией

Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый, тридцатиградусный мороз; взвизгивает исчадь севера, ведьма-вьюга, заметая тротуары, слепя глаза, пудря меховые воротники, усы людей и морды мохнатых скотов, но приветливо, сквозь летающие перекрестно охлопья, светит вверх окошко, где-нибудь в четвертом этаже: в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара, ведется согревающий и сердце, и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил Бог свою Россию, и так возвышенно-пылко трепещет молодое сердце юноши, как не водится в других землях и под полуденным роскошным небом.

«М. Д.» Т. 2



Особенность русской лирики

В лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому,— то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости.

«В. М.»



Жуковский и Батюшков

Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкою дела. Не его дело добыть в горах алмаз,— его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время, когда Жуковский стоял еще в первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самом идеальном, так этот потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения, чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

«В. М.»



Пушкин

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородных начала в нашу поэзию; из двух начал в миг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина: ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилия сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногослаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу.

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском

национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключились все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее всех раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но смотрит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят сами они.

Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух; потому что, чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы необыкновенное было, между прочим, совершенная истина.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Пушкин был дан миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше,— что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени, или обстоятельств, и не под условием также собственного, личного характера,

как человека, но в независимости от всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший душевный анатомик разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе.

«В. М.»



Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразием ума своего, ни картинною личностью характера, ни гордостью движений своих: христианским, высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую, битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии, но за нашу душу, которую сам небесный Творец наш считает перлом своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество то, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешнею бессмысленною жизнью. Скорбию ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке.

«В. М.»



Два писателя

Счастлив путник, который, после длинной, скучной дороги, с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными зрителями, бряканьем колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами, видит, наконец, знакомую крышу, с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших

навстречу людей, шум и беготня детей, и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти! Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который, мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который, из великого омута ежедневно вращающихся образов, избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы! Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их — как в родной семье; а между тем, далеко и громко разносится его слава. Он окурив упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоколетающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца; ответные слезы ему блещут во всех очах. Нет равного ему в силе!.. Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, — и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит на встречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянии им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце и душу,

и Божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнце, и передающие движения незамеченных насекомых; ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания; ибо не признает современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением, и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признает сего современный суд — и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю: без разделения, без ответа, без участия, как бессмейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще и горько почувствует он свое одиночество.

«М. Д.» Т. I



Журналистика

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области науки и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире и которое без того было бы, в обоих смыслах, мертвым капиталом.

«О движении журнальной литературы»



Редактор

Редактор всегда должен быть видным лицом.

На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезначимости языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала.

(Там же)



Отношение к сотрудникам

Сотрудников следует подзадоривать и так сказать — подпекать на дело. Это народ Русской. Рвануться на рабо-

ту — наше дело, а там как раз и съедешь на *пишк*. У нас старые из литераторов мастера только приводить в уныние молодых людей, а подстрекнуть на труд и деятельную работу нет ума.

(Письмо к Плетневу)



О порядочности в журналистике

Мне кажется, всем нам следует во всех своих действиях теперь, больше чем когда-либо прежде, *умерять себя*, помня ежеминутно, что мы все нервно-неспokoйны в нынешнюю эпоху. Очень было бы хорошо, если бы мы в печатных статьях наших, обращенных против кого-либо, исполняли этот простой долг в отношении к ближнему, который предписан нам в простом быту нашем. Часто я думаю: «Неужели невозможно это литератору?»

(Письмо к С. П. Шевыреву)



Журналист и художник

Отвлеченный писатель и журналист так же не могут соединиться в одном человеке, как не могут соединиться теоретик и практик. Одному дан ум быстрый схватывать мгновенно все предметы мира в минуту их представления. Другой может сказать свое слово только глубоко обдумав; иначе его слово будет глупее всякого обыкновенного слова, произнесенного самым обыкновенным человеком.

(Письмо к Вьельегорским)



Обыкновенная и художественная литература

Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличились. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши.

Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жало-

ваться на правительство, встретивши недалёковидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты.

«О движении журнальной литературы»



Об иллюстрировании беллетристических произведений

Я враг всяких политипажей и модных выдумок. Товар должен продаваться лицом, и нечего его подслащивать этим кондитерством. Можно было бы допустить излишество этих родов только в таком случае, когда оно слишком художественно. Но художников-гениев для такого дела не найдешь; да притом нужно, чтоб для того и самое сочинение было классическим.



О книге для народа

Я полжизни думал о том, как бы написать истинно-полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовав, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезнее и нужнее для мужиков всего того, что может сказать ему наш брат-писатель.

«В. М.»



Молодежь и литературные влияния

Молодежь глупа. У многих из них бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. Если в эти идола попадает человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже: достоинств самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко!

У теперешнего молодого человека лиризм течет невольно, потому что есть внутри у него сила, требующая дела, алчущая действовать и только не знающая, где, каким образом, на каком месте. В теперешнее время не так-то легко

попасть человеку на свое место, то есть, на место, именно ему принадлежащее; долго ему придется кружить, прежде чем на него попадет.



О начинающих писателях

В последнее время повесть сделала у нас успех, и несколько молодых писателей показали особенное стремление к наблюдению жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель, все прочее придет само собою, и каждый из них, обнаружив еще сильней особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков...

Покуда писатель молод, он пишет много и скоро. Воображение подталкивает его беспрерывно; он творит, строит очаровательные воздушные себе замки, и немудрено, что писанью, как и замкам, нет конца. Но когда уже одна чистая правда стала его предметом и дело касается того, чтобы прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть, покуда, в немногих избранных и лучших, тут воображение немного подвигнет писателя: нужно добывать с боя всякую черту.

(Письмо к Плетневу)



Современность и великое значение писателя-художника

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже и не на ночлеге, не на временной станции, или отдыхе. Все чего-то ищет,— ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч, и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройного порядка. Мысль о строении как себя, так и других

делается общео. Со всеми замечательными, стоящими впереди других, людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевероты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хоть намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творение свое в поучение людей. Требования от него слишком велики и — справедливо. Для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видишь перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живо писать, но лишенные способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться не даром. Нужно, чтобы в создании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтоб он, постигнувши современность, ставши в уровень с всяким, умел обратно воздать ему за наученье себя, наученьем его. Так по крайней мере определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики, как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком их взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит перед его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? — В таком случае и тогда, когда уже он все разрешил себе, что не тревожит его самого. Если он,

при всех великих дарах, при картинной живописи в слове, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем поведено быть крепкою скалою человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая, делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду, так что нельзя оторваться. Разумеется, с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из головы всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом, на место самых жарких рассуждений, этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей и двери сердец растворяются сами навстречу которым; если при том хотя каплю почувствуют читатели, что они взяты из нашей природы, из того же тела, — тогда, разумеется, кто может ныне подействовать сильнее такого писателя, и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе?

«Авторская исповедь»

ТЕАТР



Значение театра и классических произведений

Церковь начала восставать против театра в первые века всеобщего водворения христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел против них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перестроился сызнова поколениями свежих народов Европы, которых образование началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд Св. Отцов Церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, — человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются вы-

сокая трагедия и комедия, должен быть в совершенной независимости от всего. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо с Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет виднее весь необъятный кругозор христианства, и понятнее то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди света есть много такого, что для всех отделившихся от христианства служит незримою ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя непрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить, как следует, на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куда поведут ее. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромождившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр.

«В. М.»



Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство.

Боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновением, для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для них побасенки, высокие движения души — для них побасенки. Побасенки!.. а вон протекли века, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют

им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец, и полный благородного стремления юноша. Побасенки! А вон: стонут балконы и перила театров; все потряслось с низу до верху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни?.. Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку,— и брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он примеренный с жизнью и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Побасенки! Но мир задремал бы без таких побасенок, обомлела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души.

«Петербургские записки»



Трагедия и комедия

Разве положительное и отрицательное не может служить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей излучины души подлого и бесчестного человека, не рисует уже образ честного человека? Разве все это накопление низостей, отступления от законов и справедливости, не дает уже знать, что требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного медика и холодная и горячая вода лечат с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правится высокою мыслью послужить прекрасному.

«Ревизор»



О драме и драматурге

Драма живет только на сцене. Без нее она — как душа без тела...

Зачем, небывши драматургом, писать драму? Как будто свойства драматурга можно приобрести! Как будто для

этого достаточно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно *осязательное, пластическое* творчество, и ничто другое. Его ничем нельзя заменить.



О завязке в драматическом произведении

Вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уже к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? точно узелок на уголке платка. Нет, комедия должна вязаться сама собою, всей своей массой, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два,— коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.

В самом начале комедия была уже общественным, народным созданием. По крайней мере такую показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непрерывную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!

«Театральный разъезд»



Двойное влияние смеха

Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все время продолжения ее. Это честное, благородное лицо был — смех... Смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющийся родник его, но который *углубляет* предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проникающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека.

Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имени, но перед ним виновный — как связанный заяц... Несправедливы те, которые говорят, будто смех возмущает! Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу. И тот, кто понес бы мщение против злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движения души его.

«Театральный разъезд»



Гоголь о комическом в жизни

Комизм кроется везде, хотя живя посреди него, мы его не видим; но раз художник — перенесет его в искусство, на сцену, мы сами же над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его.

(Из воспоминаний Аксакова)



Публика и высокая комедия

Дирекция все-таки правится публикою, а публикою правит актер. Вы помните, что публика почти то же, что застенчивая и неопытная кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей носа и губ, она до тех пор не станет есть соуса, каких ни читай ей наставлений. Смешно думать, чтоб нельзя было наконец заставить ее [публику] войти глубже в искусство комического актера, — искусство, такое сильное и так ярко говорящее всем в очи.

(Письмо к Щепкину)



Наставление комическому актеру

Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той серьезности, с какою занято каждое из лиц, выводимых в комедии... Умный актер, прежде чем схватить мелкие при-

чуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, должен стараться поймать *общечеловеческое выражение роли*. Все эти частности и разные мелкие принадлежности, — которыми так счастливо умеет пользоваться даже и такой актер, который умеет дразнить и схватывать походку и движенья, но не создавать целиком роли, — суть не более как краски, которые нужно класть уже тогда, когда рисунок сочинен и сделан верно. *Они — платье и тело роли, а не душа ее*. И так прежде следует схватить эту душу роли, а не платье ее.

(Предупреждение для исполнителей «Ревизора»)

О СЕБЕ И СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ



О «Мертвых душах»

Для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей.

Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть вся — *пошлость*, и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие тома — вот и все! Первая часть, не смотря на все свои несовершенства, главное дело сделала. Она поселила во всех отвращение от моих героев, и от их ничтожности; она разнесла некоторую, мне нужную, тоску и особенно наше неудовольствие на самих нас.

«Авторская исповедь»



К идее о «Ревизоре»

Не одну эту комедию, но все, что бы ни показалось изпод пера какого бы то ни было писателя, смеющегося над порочным и низким, прием прямо на собственный счет, как бы оно именно было на нас лично написано: все отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Хлестаковым, но с настоящим и неподкупным ревизором.

Ревизор — это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что, по именному высшему повелению, он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шага нельзя будет сделать назад.

Хлестаков — щелкопер, Хлестаков ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, — вышел чуть не святой. Думаете, не хитрее всякого плута-чиновника каждая страсть наша? И не только страсть, даже пустая, пошлая какая-нибудь привычка так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродетель, и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему: «Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем все прибрано и чисто!»

Нет, господа, все, кто ни держится такого мнения, бросьте вашу светскую совесть! Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве.

«В. М.»



По поводу книги «Выбранные места из переписки с друзьями»

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями», и, что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе — предметом толков и критик стала не книга, но автор. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно писателя. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Нет, в книге: «Переписка с друзьями», как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу: иной и десять раз прочтет — и ничего из

этого не выйдет. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который, при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Я не успокоился до тех пор, покада не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого, и только тогда, когда нашел удовлетворение в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению.

«Авторская исповедь»



Особенность художнической организации Гоголя

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желание сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь научиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры, первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не за тем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой, гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; сведения эти мне просто нужны были как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков себе на картину, но развешивает их вокруг, по стенам, за тем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, против времени, или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительно-сти, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог

только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не писал портрета, в смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, — словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Рожден я вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей.

«Авторская исповедь»



Гоголь о методе работы

Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно *все*, и забыть об этой тетради. Потом, через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать. Вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего не достает. Сделайте поправки на полях и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре — новые заметки на полях и — где не хватает места взять отдельный клочок

и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь *собственноручно*. Тут сами собою явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежними вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять отложите тетрадку... Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего, или хоть пишите другое. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом и, когда она снова будет измарана, перепишите ее *во второй раз собственноручно*. Вы заметите при этом, что вместе с крепчением слога, с отделкой, очисткой фраз, как бы крепчает и ваша рука, буквы становятся тверже и решительнее. Так надо делать по-моему *восемь раз*. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне художнически законченным, *достигает перла создания*. Дальнейшие поправки и пересматривания, пожалуй, испортят дело, что называется у живописцев *зарисуешься*. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина.

(Воспоминания Н. В. Берга)



Гоголь о детальности работы

Много значит, когда живописец даст последний *туш* своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое.

(Из воспоминаний Аксакова)



Дар творчества

Одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение *творить*.

• «Авторская исповедь»



Гоголь о самопроверке

Я сужу о достоинстве моих сочинений по тому впечатлению, какое они производят на людей, мало читающих повести и романы. Если они рассмеются, то значит уже действительно смешно; если будут тронуты, то значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем уселись слушать меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться.

(Из воспоминаний Л. Арнольди)



Влияние Пушкина

Моя утрата всех больше. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой («Мертвые души») есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя?..

(Письмо Плетневу по поводу смерти Пушкина)

ЖЕНЩИНЫ

*Сила женской красоты*

Красота женщины еще тайна. Бог не даром повелел иным из женщин быть красавицами; не даром определено, чтобы всех равно поражала красота,— даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему неспособны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиною переворотов всемирных и заставлял делать глупости наивнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?

«В. М.»



Мы зреем и совершенствуемся, но когда? Когда глубже и совершеннее постигаем женщину.

«Женщина»



Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором с одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира и все чего-то теперь ждет от женщины.

«В. М.»

*Русская женщина*

Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не смотрите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь вы умеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все честное, подвигнет своего мужа на исполнение честного долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича.

«В. М.»

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ О ЖЕНЩИНЕ

*Муж о сварливой жене*

«Господи, Боже мой! За что такая напасть на нас, грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

«Сорочинская ярмарка»

*Нечто о мужских носах*

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника; или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся.

«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»



О, это коварное существо женщины! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то,— она любит только одного черта.

«Записки сумасшедшего»



Женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гневе будь сказано, нежели назвать кого красавицею.

«Вечер накануне Ивана Купала»



Глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того, чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то по крайней мере уважение.

«Невский проспект»



Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда Бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: «Да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома с благородными чугунными лестни-

цами, сияющими медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой, в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли,— мысли, занимающие, по законам моды, на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в поместьях, запутанных и расстроенных, благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм!

«М. Д.» Т. I



Чичиков о женщинах

«Нет», сказал сам себе Чичиков, «женщины,— это такой предмет...» здесь он и рукой махнул: «просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегают на их лицах,— все те излучинки, намеки... а вот, просто, ничего не передашь! Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай, как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну, попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный — Бог их знает, какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный или, как иные говорят, в неге или без неги,— так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

«М. Д.» Т. I

ИЗ ОБИХОДНОГО СЛОВАРЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ ТЕАТРА ГОГОЛЯ

ИЗ «РЕВИЗОРА»:

Артемий Филиппович: О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше,— лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.

Хлестаков: А больные выздоровели? их, кажется, не много.

Артемий Филиппович: Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть вам покажется даже невероятным, все, как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Артемий Филиппович: Имею честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков: А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович: Рад стараться на службу отечеству!..

Городничий: Должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и, что силы есть, хватил стулом об пол! Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать! От этого убыток казне.

Купцы (*о городничем*): Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтобы какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Городничий (*о купцах*): Он купец, его не тронь; «мы», говорит «и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты рожа! дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наш» не знаешь, а уже обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь! Да я плевал на твою голову и на твою важность!

Осип: Ну, кто же спорит; конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политическая: келятры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь!



Хлестаков: Я ведь тоже разные водевильчики... литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что брат Пушкин? — «Да так, брат», отвечал бывало: «так как-то все»... Большой оригинал!



Хлестаков (*Городничихе*): Я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна: Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков: Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй...



Бобчинский: Имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков: А что, о чем?

Бобчинский: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков: Очень хорошо.

Бобчинский: Да если так и государю придется, то скажите и государю, что вот мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков: Очень хорошо.

ИЗ «ЖЕНИТЬБЫ»:

Подколесин: Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты, да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Все как-то не того!..

Сваха (*Подколесину*): Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и соврет, а такой на

взгляд видный. Что ж делать, так уж ему Бог дал; он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть,— такая уж на то воля Божия.



Кочкарев (*о женихах*): Какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большое, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна: Ну, вот видите!

Кочкарев: Да что ж за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собою мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор ёгозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, ей-богу! «Вот тебе», говорит, «твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все прибавил. Так что ж из этого, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в карман — взял, да и вытер.



Анучкин (*о невесте*): Кажется, она только по-русски и говорит?

Фекла: Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже, и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь,— речь известно какая: все святые говорили по-русски.



Кочкарев: Брак это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куда-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность!

«ЛАКЕЙСКАЯ»:

Дворецкий: В том-то и есть поведение, что всякий человек должен знать долг. Коли слуга, так слуга, дворянин,

так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий начал... я бы сейчас сказал: «Нет, я не дворецкий, а губернатор, или там какой-нибудь от инфантерии». Да ведь зато мне всякий бы сказал: «Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал,— вот что! твоя обязанность смотреть за домом, за поведением слуг,— вот что! Тебе не то, что бон жур, коман ву франсе, а вести порядок, распоряжение,— вот что! Да!»

«ИГРОКИ»:

Замухрышкин: Ведь вот тоже господа сочинители все подсмеиваются над теми, которые берут взятки, а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые кажутся получше нас. Ну, да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали название поблагороднее: пожертвованные там или там, Бог ведает, что такое. А на деле выходит, такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД
(ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «РЕВИЗОРА»):

Две бекеши, одна другой.

Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.

Другая бекеша (*делая значительные движения губами*). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... в своем роде... Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и... где ж, так сказать... а впрочем... (*Утвердительно сжимая губами.*) Да да! (*Уходят.*)



Еще литератор (*входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками*). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пьеса! грязная, грязная пьеса! Нет ни одного лица истинного, все — карикатуры! В натуре нет этого, поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение... да ведь все вздор, это все приятели, приятели хвалят, все приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пьеса, просто, недостойна даже быть названа комедией. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный! Последняя пустейшая комедийка

Коцебу в сравнении с нею — Монблан перед Пулковскою горою! Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто, друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он чуть-чуть не Шекспир! У нас всегда приятели хвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели, кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать.



Двое мужчин.

Первый: Нет; да это не предмет для комедии, мой милый. Это уже некоторым образом касается правительства. Как будто нет других предметов, о чем можно писать?

Второй: Какие же другие предметы?

Первый: Ну, да мало ли есть всяких смешных светских случаев. Ну, положим, например, я отправился на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завез там на Выборгскую, или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?



Первая бекеша: У Французов тоже например; но у них все это очень мило. Ну вот, помнишь, во вчерашнем водевиле: раздевается, ложится в постель, и проч. Оно, конечно, нескромно, но мило. На все это можно смотреть, это не оскорбляет... У меня жена и дети всякий день в театре. А здесь, ну что это, право: какой-нибудь мерзавец, мужик, которого бы я в переднюю не пустил, развалился с сапогами, зевает или ковыряет в зубах,— ну что это, право, на что это похоже?



Статский: Ведь вот вы какие, господа военные! Вы говорите, это надо выводить на сцену, вы готовы вдоволь насмеяться над каким-нибудь статским чиновником, а затронь как-нибудь военных, скажи только, что есть в таком-то полку офицеры, не говоря уже о прочих наклонностях, но просто скажи: есть офицеры дурного тона, с неприличными ухватками,— да вы из одного этого готовы с жалобою полезть в самый государственный совет.

Военный: Ну послушайте: за кого вы меня считаете? Конечно, есть между нами такие Дон-Кихоты, но поверьте также, что есть много истинно-рассудительных людей, которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние порочащий свое звание. Да и в чем здесь обида? Подавайте, подавайте нам его, мы всякий день готовы смотреть.

Статский (в сторону): Этак всегда кричит человек: подавайте! подавайте! А подашь — так и рассердится. (Уходит.)



Двое офицеров.

Один (другому): Кто это рассуждает? Кажется, из ваших? (Другой, заглянув с боку в лицо рассуждающего, махнул рукой.)

Первый: Что, глуп?

Второй: Нет, не то, чтобы... У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка — и в голове ничего.



Люди бог весть какого свойства, впрочем благородной наружности и прилично одетые.

Первый: Вы сами знаете, что такое литератор? — Пустейший человек: это всему свету известно, ни на какое дело не годится. Уж их пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну что такое они пишут? — ведь это все пустяки, побасенки! Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишите, и он напишет, и всякий напишет.

Второй: Да, конечно, почему ж и не написать. Будь только капля ума в голове, так уж и можно.

Первый: Да и ума не нужно. Зачем тут ум? Ведь это все побасенки. Ну если б, еще была, положим, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предмет, которого еще не знаешь, а ведь это что такое? Ведь это всякий мужик знает. Это всякий день увидишь на улице. Садись только у окна, да записывай все, что ни делается, — вот и вся штука.

РАЗНЫЕ МЫСЛИ, ПАРАДОКСЫ, ШУТКИ



Гоголь о русском языке

Нам надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех, родных нам, племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров.

(Из воспоминаний г. Данилевского)



Русский и малоросс

Я сам не знаю, какая у меня душа. Хохлацкая, или Русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни Малороссиянину перед Русским, ни Русскому пред Малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую.

(Письмо к А. О. Смирновой)



Малороссийские песни

Моя радость, жизнь моя! песни! Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями.

(Письмо к М. А. Максимовичу)



Русская заунывная музыка выражает забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят, говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни, если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту минуту, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться об ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим снизу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым, вестник деревенского ужина и довольства, несется светлыми кольцами к небу, и вечер тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю.



Образчик Гоголевского пейзажа

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее; говорит и дышит он; земля вся в серебряном свете; чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет

океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что месяц заслушался его посреди неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще более, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Кое-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

«Майская ночь»



Итальянская весна

Какая весна! Боже, какая весна! Но вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющом и дикими цветами. Как хороши теперь синие клочки неба промеж деревьев, едва покрывшихся свежей, почти желтой зеленью, и даже темные как воронье крыло кипарисы, и еще далее голубые, матовые, как бирюза горы Фраскати и Албанские и Тиволи. Что за воздух! Удивительная весна! Гляжу — не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большого носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны.

(Письмо к Смирновой)



Италия

Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства,— все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к небу.

(Письмо к Плетневу)



О Париже

Вот он, Париж, это вечное, волнующееся жерло; водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их; великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидимых углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы!..

Так пронеслись четыре пламенные года его жизни¹, четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезла, без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему страшная недеятельность. Страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался

¹ Римский князь — герой неоконченной повести.

этим странным вихрем книжной, типографски-движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих противников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни противников... и слово *политика* опротивело наконец сильно итальянцу.

В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографской роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось само без зазыва, как непотребная женщина, что ловит человека ночью на улице; все одно пред другим вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинства не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого течения всего целого.

«Рим»



Англичанин

Англичанин есть человек довольно высокого роста, который садится всегда довольно свободно, поворотившись спиною к даме и положивши одну ногу на другую.



Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге: для него он составляет все. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес,

объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность, выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимите ее вверх... Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же ничуть не бывало: они большею частью служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частью все порядочные люди. В это благословенное время от 2-х до 3-х часов пополудни, которое может называться движущеюся столицей Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая пару хороших глазок и удивительную шляпку, пятый перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, восьмой — усы, повергающие в изумление.

«Невский проспект»



Дорога

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове *дорога*! и как чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенние листья, холодный воздух... Покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней при-

жмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь схватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся... как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снега», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся — пять станций убежало назад; луна; неведомый город; церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями; темные бревенчатые и белые каменные дома; сияние месяца там и там — будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу, блистают вкось озаренные деревянные крыши; и нигде ни души: все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке, — что до них? А ночь... небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи; нигде ничего: везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер. Покрепче в теплую шинель!.. Какой славный холод! какой чудный вновь обнимающий тебя сон! Толчок! — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» слышится голос; телега спускается с кручи; внизу плотина широкая, широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогорке; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке... Боже! как ты хороша подчас, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!

«М. Д.» Т. 1



Творец! Как еще прекрасен Твой мир в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов!

«М. Д.» Т. 1



Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития, и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком, да увеличилось число празднующихся по всему миру?

«В. М.»



— А вы охотник до видов! — сказал Костанжогло, вдруг взглянув на него (Чичикова) строго. — Смотрите, погонитесь тут за видами, — останетесь без хлеба и без видов. Смотрите на поля, а не на красоту. Красота сама придет. Пример вам города: лучше и красивее до сих пор города, которые сами строились, где каждый строился по своим надобностям и вкусу, а те, которые выстроились по шнурку, — казармы казармищами... В сторону красоту! Смотрите на потребности...

«М. Д.» Т. 2



Воспоминание юности

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе впечатление какой-нибудь заметной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом известной архитектуры, с половиною фальшивых окон, один-единешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков;

круглый ли, правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользнуло от свежего, тонкого внимания и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покроем какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшими из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного Бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, — и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо, — я уже задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой и всею семьей; и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в мониствах, или мальчик в толстой куртке, принесет, уже после супа, салютную свечу в долговечном домашнем подсвечнике? Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню, или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступающие его сады и он покажется весь, с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью, и по нем старался я угадать: кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей, с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшою сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам, или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу?

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! о, моя свежесть!



Гоголь об образовании

В известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека.

(Из воспоминаний Анненкова)



Задумчивая речь

Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей; и часто, неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, неприютность ночлегов и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека; и живо врежется раз и навсегда и навеки проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память: и кто сопresentствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его,— стены, углы и всякую безделушку.

«М. Д.» Т. 2



Рассказ

Признаться сказать, оно очень приятно, если кто станет что-нибудь рассказывать. Если же выберется человек небольшого роста, с сиповатым баском, да и говорит ни слишком громко, ни слишком тихо, а так, совершенно, как кот мурлычет над ухом, то это такое наслаждение, что ни пером описать, ни другим чем-нибудь не сделать.

(Из черновых набросков)



Господа военные

П*** пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки, и, несмотря на то, что он большею частью стоял по деревням, он был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за

пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П*** полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с»,— говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, «многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с, очень многие-с»!

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка»



Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перерзели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе между благой блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» бывают им часто лучшею наградою.

«Невский проспект»



Толстые и тоненькие

Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особым поручениям, или только числятся, и вливают туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают кос-

венных мест, а все прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорее место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят.

«М. Д.» Т. I



Больные люди

Для больного нет большего наслаждения, как встретиться тоже с больным и наговориться с ним досыта о своих болезнях. Они говорят об этом с таким наслаждением, с каким говорят только обжоры о съеденных ими блюдах.



Игра судьбы

«Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша: получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, которого сердце горит лошадиной страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку Главного Штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

«Невский проспект»



Человеческая суетность

Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде один судья, да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрывкою. Канцелярист и

волостной писарь третьего года взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны!

«Ночь перед Рождеством»



Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем, именно прибегнули к нему! Поди ты, сладь с человеком! Не верит в Бога, а верит, что, если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое соглашением и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца! Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится, наконец, к бабе, которая лечит зашептываниями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декокт из ни весть какой дряни, которая, Бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни.

«М. Д.» Т. I



Щедр человек на слово *дурак* и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону, дороги избира-

ло человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как пред ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо него, в глухой темноте, текли люди — и сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди белого дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: «Где выход, где дорога?» Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

«М. Д.» Т. I



Человек

Всякий человек, есть кулик, и если вытащит нос, то непременно загрузит хвост. Это даже нужно для того, чтобы он не слишком подымал своего носа и помнил бы ежеминутно, что он дрянь!



Жизнь

Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь как на тринтаву, как всегда глядел казак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши по утру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что будет.

(Письмо к Максимовичу)



Гоголь о меланхолии

Если вас одолевает тоска — это все дело нашего общего приятеля черта. — Бейте эту длиннохвостую скотину по морде. Дайте грусти киселя, да еще с пришлепкой!

(Из воспоминаний Г. Н. Данилевского)



Веселость

Мы так устроены, что все должно приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым.

(Письмо к Г. Н. Данилевскому)



Любовь

— Все требуют к себе любви, сударыня, — сказал Чичиков. — Что ж делать? И скотина любит, чтобы ее погладили. Сквозь хлев просунет морду: на, погладь!

«М. Д.» Т. I



Коли человек влюбится, то он все равно, что подошва, которую коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

«Тарас Бульба»



Гоголь о славе

Одна только слава по смерти знакома душе неподдельного поэта. А современная слава — не стоит ни копейки.

(Из воспоминаний Анненкова)



Старость (о Плюшкине)

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться! И похоже это на прав-

ду? — Все похоже на правду, все может стать с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою, в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество,— забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге,— не подымите потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: Здесь погребен человек; но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости!

«М. Д.» Т. I



Смерть

Все эти толки, мнения и слухи (о Чичикове), неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится ни с того ни с другого, умер. Параличом ли его, или чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, Боже мой!» Послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже давно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он, по скромности своей, никогда ее не показывал. А между тем, появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер, или зачем жил,— об этом один Бог ведает.

«М. Д.» Т. I



Похороны

Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. В то время, когда

экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпы, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех, и пеших и ехавших, и барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышки, находившиеся в кожаных занавесках. За гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа; но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие, обыкновенно, ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец, за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец, и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнеся от души: «Вот прокурор! жил-жил, а потом и умер!» и вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови!

«М. Д.» Т. I

О БРАТСТВЕ

*О любви к ближнему*

Бедные крестьяне в поте лица работают на нас, а мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их. Это безбожно. Оттого и наказывает нас Бог, насылая на нас голод, невзгоды и всякие болезни, лишая нас даже и скудных доходов. Жестоко наказываются целые поколения, когда, забыв о том, что они в мире затем, чтобы трудами снискивать хлеб и в поте лица возделывать землю, приведут себя в состояние белоручек. Все тогда, весь мир идет навыворот.

(Письмо к матери)



Всему предстоят препятствия, везде предстанут неудачи. Одной только любви нет препятствий; ей всюду свободно и всюду открыт путь. Друг мой, да наполнится же одной любовью и душа, и сердце, и мысль твоя! и да двигнет одна она отныне пером твоим! Много, много ей предстоит поприща; нет и конца ее предметам. Но не позабудь прежде всего тех, которым прежде всего следует проснуться. Внуши бодрость и выведи из уныния тех, которые стоят передовыми и могут подать пример другим. Не беда, если дурак придет в уныние (это даже для него и лучше), но плохо, если умные повесят носы. Истинно же ободрить возможно только одним средством: именно, когда ободряя кого-либо, ты в то же время напоминаешь ему, что он должен позабыть себя и не себя выводить из уныния, но других выводить из уны-

ния. Сим одним только средством может человек сам выйти из него. Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем сами в себе никакой силы, но как только подвигнемся на помощь другим, сила вдруг в нас является сама собою. Так велико в нашей жизни значение слова *другой* и любовь к другому. Эгоистов не было бы вовсе, если бы они были поумнее и догадались сами, что стоят на нижней ступеньке, ступеньке своего эгоизма, и что только с тех пор, когда человек перестает думать о себе, с тех только одних пор он начинает думать истинно о себе, и становится таким образом самым расчетливейшим из эгоистов.

(Письмо к Языкову)



Часто мы считаем великим подвигом откровенности и доверия, когда покажем наконец врачу ту рану, которую нужно лечить, а от каких именно случаев произошла самая рана, какие были тесно сопряженные обстоятельства, когда, в какое именно время началось зло, все это считаем вовсе ненужным знать врачу; пусть лучше он сам присочинит и дополнит своим воображением. Но оттуда и ложь, и все неуспехи наши, что мы присочиняем и дополняем своим воображением. Исследование слишком точное нужно во всяком душевном деле. Что ни человек, то и разная природа; что ни душа, то и разная степень ее развития, а потому и разные струны, ее двигающие. Нет и двух человек, одаренных одними и теми же способностями, а потому и дороги к ним не одни и те же, и почти ко всякому разные. Потому-то и поведено нам нежное снисхождение к брату, т. е. поведено снзойти прежде к его природе любовью, и с участием рассмотреть все, что у него болит, и вовсе не полагаться на голос гордости нашей, говорящей нам, что мы уже совершенно его знаем.

(Письмо к А. С. Данилевскому)

*О страдании*

Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Страданиями и горем определено нам

добывать крупницы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупниц, тот уже не имеет права скрывать ее в себе от других.



О нравственном перерождении

Блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от разврата и от подлой пресмыкающейся жизни, преданной каверзничествам, неправдам, предательствам, особачившим дни ее и заплевавшим его человеческую душу, как бы вдруг пробуждается в великую минуту и так же *запоём*, как способен один только русский, который с горя вдруг вдается в пьянство, так же запоём из пьянства входит в трезвость души, великодушно объявляет брань самому себе, загорается еще сильнейшей жаждой небесною, чем всякой другой, и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности.

(Письмо к Языкову)



Преимущество христианина

Для христианина нет оконченного курса: он вечно ученик, и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холоднее прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалиясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Отчего же это? — Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собою подвиги, за которые наградою ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги, — угаснула и сила стремя-

щая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть, или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желание быть лучшим и заслужить рукоплескание на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие.

«В. М.»



Праздник Светлого Воскресения

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтою молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспринять этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не на деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата, — он его не обнимет. *Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет.* Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один страждущий, виднее других, тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующих сострадания к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он и случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в

глаза. Вот какого рода объятия всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин. Христианин!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!



Будущее мира

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятною тоскою уже загорелась земля: черствее и черствее становится жизнь; все мельчает, мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. *Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!*

«В. М.»

**МЫСЛИ, ВЗГЛЯДЫ,
ИЗРЕЧЕНИЯ и АФОРИЗМЫ
Л. Н. Толстого**

О БОГЕ



Бог для меня — это то, к чему я стремлюсь, то, в стремлении к чему и состоит моя жизнь, и который потому и *есть* для меня; но есть непременно такой, что я Его понять, назвать не могу. Если бы я Его понял, я бы дошел до Него, и стремиться бы некуда было, и жизни бы не было. Но, что кажется противоречием, я Его понять и назвать не могу, а вместе с тем знаю Его,— знаю направление к Нему, и даже из всех моих знаний это самое достоверное.



Бога и душу я знаю так же, как я знаю бесконечность: не путем определения, но совершенно другим путем. Определения же разрушают во мне это знание.



Так же, как я несомненно знаю, что есть бесконечность числа, я несомненно знаю, что есть Бог и что моя душа есть. Но это знание несомненно для меня потому только, что неизбежно приведен к нему.



К несомненности знания бесконечного числа я приведен сложением.



К несомненности знания Бога я приведен вопросом: откуда я?



К знанию души я приведен вопросом: что я такое?



И я несомненно знаю и бесконечность числа, и Бога, и мою душу, когда я приведен к знанию их этим путем самых простых вопросов.



К двум приложу один, и еще один, и еще, и еще, или разломаю палочку, и еще надвое, и еще, и еще — и я не могу познать бесконечности.



Я родился от своей матери, а та от бабушки, от прабабушки, а самая последняя от кого? И я неизбежно прихожу к Богу.



Ноги — не я, руки — не я, голова — не я, чувства — не я, даже мысли — не я; что же я?



Я — я, я — моя душа.



С какой бы стороны я ни пришел к Богу, будет то же самое: начало моей мысли, моего разума — Бог; начало моей любви — Он же; начало вещественности — Он же.



Бог — это неограниченное всё то, что я знаю в себе ограниченным: я — тело ограниченное. Бог — тело бесконечное.



Я — существо, мыслящее в пределах моего понимания, Бог — существо, мыслящее беспредельно.



Я — существо, жившее 63 года. Бог — существо, живущее вечно.



Я — существо, любящее иногда немного. Бог — существо, любящее всегда бесконечно.



Я — часть, Он — все.



Я себя не могу иначе понимать, как частью Его.



Бога знаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по чувствуемой полной зависимости от Него, в роде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его держит, кто греет, кто кормит; но знает, что есть этот кто-то, и, мало того, что знает — любит его.



Самый последовательный агностик, хочет он или не хочет этого, признает Бога. Он не может не признавать того,

что, во-первых, в существовании его самого и всего мира есть какой-то недоступный ему смысл; а, во-вторых, что есть закон его жизни,— закон, которому он может подчиняться, или от которого может уклоняться. Вот это-то признание высшего, недоступного человеку, но неизбежно существующего высшего смысла жизни и закона своей жизни и есть Бог и Его воля.

Нет ни одного верующего человека, на которого бы не находили минуты сомнения, сомнения в существовании Бога. И эти сомнения не вредны; напротив, они ведут к высшему пониманию Бога.



Все, что я знаю, я знаю потому, что есть Бог, и я знаю Его. Только на этом можно основаться твердо и в отношениях к людям и к себе, и к вневременной и внеземной жизни. Я не только не нахожу этого мистичным, но нахожу, что противоположный взгляд есть мистицизм, а что это одна самая понятная и всем доступная реальность.



Говорят: Бога надо понимать как личность. В этом большое недоразумение: личность есть ограничение. Человек чувствует себя личностью только потому, что он соприкасается с другими личностями. Если бы человек был один, он бы не был личностью. Эти два понятия взаимно определяются: внешний мир, другие существа и личность. Не было бы мира других существ, человек не чувствовал (не признавал) бы и себя личностью, он не признавал бы существования других существ. И потому человек среди мира немислим иначе, как личность. И как же про Бога сказать, что Он — личность, что Бог личный. В этом корень антропоморфизма. Про Бога можно сказать только то, что говорили Моисей, Магомет,— что Он — один; и то один не в том смысле, что нет другого или других богов,— по отношению к Богу не может быть понятия числа, и потому нельзя даже сказать про Бога, что Он — один (1 — в значении числа), а в том смысле, что Он одноцентричен, что Он не понятие, а существо,— то, что православные называют живым Богом в противоположность Богу пантеистическому, т. е. высшее

существо духовное, живущее во всем. Он один в том смысле, что Он есть, как существо, к которому можно обращаться, т. е. не то, что молиться,— что есть отношение между мною, ограниченным, личностью, и Богом непостижимым, но существующим. Главная непостижимость для нас Бога состоит именно в том, что мы знаем Его, как существо единое,— не можем иначе знать Его,— и между тем единое существо, заполняющее собою все, мы не можем понять. Если Бог не один, то Он расплывается, Его нет. Если же Он один, то мы невольно представляем Его себе в виде личности, и тогда Он уже не высшее существо, не Все. А между тем, чтобы знать Бога и опираться на Него, нужно понимать Его наполняющим Все и вместе с тем единым.



Я часто встречал людей, не признающих никакого Бога, кроме того, которого мы признаем сами в себе. И я удивлялся. Бог во мне. Но Бог — бесконечное начало: как же, зачем Он очутился во мне? Нельзя не спросить себя об этом; а как только спросишь, то надо признать причину внешнюю. Отчего же люди не нуждаются в ответе на этот вопрос? Оттого, что ответ на этот вопрос для них в реальности существующего мира. По Моисею или по Дарвину, все равно. И потому для понятия о внешнем Боге нужно понять, что действительно реально только впечатление наших чувств, т. е. мы сами, наше духовное я.



Сознание, чувствование Бога, живущего во мне, и действующего через меня, не может быть ощущаемо всегда.

Есть деятельности, которым надо отдаваться вполне, безраздельно, не думая ни о чем, кроме как об этом. Думать же при этом о Боге невозможно — развлекает и не нужно.



Нужно жить просто без усилия, отдаваясь своему влечению; но как только является внутреннее сомнение, борьба, уныние, страх, недоброжелательство, так тотчас, сознавая в

себе свое духовное существо, сознавая свою связь с Богом, переноситься из области плотской в область духа, и не для того, чтобы уйти от дела жизни, а, напротив, для того, чтобы зарядиться силами для совершения его; для того, чтобы победить, одолеть препятствие. Как птица,— двигаться вперед на ногах, сложив крылья; но как скоро препятствие, так раскрыть крылья и взлететь. И все легко, и все тяжелое исчезнет.



Что происходит от того, что человек признает своим я не свое отдельное существо, а Бога, живущего в нем?



Во-первых, то, что, сознательно не желая своему отдельному существу блага, такой человек не будет или менее напряженно будет отнимать его у других; во-вторых, то, что, признав своим я Бога, желающего блага всему существующему, этого же будет желать и человек.



Много думал о Боге, о сущности своей жизни, и, казалось, только сомневался и в том, и в другом, и проверял свои доводы, и потом захотелось опереться на веру в Бога и в неистребимость своей души, и, к удивлению моему, почувствовал такую твердую, спокойную уверенность, которую никогда прежде не чувствовал. Так что все сомнения и проверки, очевидно, не только не ослабили, но в огромной степени утвердили веру.



Христианин, признающий Бога человек, говорит: Я сознаю себя живым только потому, что я сознаю себя разумным; сознавая себя разумным, я не могу не признать того, что жизнь моя и всего существующего должна быть так же разумна. Для того же, чтобы быть разумной, она должна иметь цель. Цель же этой жизни должна быть вне меня,— в том существе, для которого я и все существующее служит орудием для достижения цели. Существо это есть, и я дол-

жен в жизни исполнять закон (волю) его. Вопросы же о том, каково это существо, которое требует от меня исполнения своего закона, и когда возникла эта разумная жизнь во мне, и как она возникает в других существах во времени и пространстве, т. е. что такое Бог: личный или безличный, как Он сотворил и сотворил ли Он мир, и когда во мне возникла душа, в каком возрасте, и как она возникает в других, и откуда она взялась и куда идет, в каком месте тела живет,— все эти вопросы я должен оставить безответными, потому что знаю вперед, что в области наблюдения и рассуждения над ними я никогда не приду к окончательному ответу, так как все скроется во времени и в пространстве. Поэтому самому я не признаю даваемых наукой ответов о том, как зачался мир: солнца, земли,— как зачинается душа и в какой части головного мозга она находится.



Природа, говорят, экономна своими силами,— при наименьшем усилии достигает наибольших результатов. Так же и Бог. Для того, чтобы установить в мире Царствие Божие, единение, служение друг другу и уничтожить вражду, Богу не нужно делать это самому. Он вложил в человека свой разум, освобождающий в человеке любовь, и все, чего он хочет, будет сделано человеком. Бог делает свое дело через нас. А времени для Бога нет, или есть бесконечное. Вложив в человека разумную любовь. Он уже все сделал.



Полюби, полюби того, кто делает тебе больно, кого ты осуждал, не любил, и все то, что скрывало от тебя его душу, исчезнет, и ты, как сквозь светлую воду, на дне увидишь божественную сущность его любви, и тебе не нужно и нельзя будет прощать его, тебе нужно будет прощать только себя за то, что ты не любил Бога в том, в ком Он был, и из-за своей нелюбви не видал Его.



Христианское учение открывает человеку то, что сущность его жизни есть не его отдельное существо, а Бог, за-

ключенный в этом существе. Бог же этот познается человеком разумом и любовью.



Что я здесь, брошенный среди мира этого? К кому обращаюсь? У кого буду искать ответа?

У людей? Они не знают, они смеются, не хотят знать,— говорят: «Это пустяки. Не думай об этом. Вот мир и его сласти.— Живи!»

Но они не обманут меня. Я знаю, что они не верят в то, что говорят. Они так же, как и я, мучаются и страдают страхом перед смертью, перед самим собою и перед Тобою, Господи, которого они не хотят назвать.

И я не называл Тебя долго, и я долго делал то же, что они. Я знаю этот обман и как он гнетет сердце, и как страшен огонь отчаяния, таящийся в сердце не называющего Тебя. Сколько ни заливай его, он сожжет внутренности их, как сжигал меня.

Но, Господи, я назвал Тебя, и страдания мои кончились. Отчаяние мое прошло.

Я проклинаю свои слабости, я ищу Твоего пути, но я не отчаиваюсь; я чувствую близость Твою, чувствую помощь, когда я иду по путям Твоим, и прощение, когда отступаю от них.

Путь Твой ясен и прост. Иго Твое благо и бремя Твое легко, но я долго блуждал вне путей Твоих, долго в мерзости юности моей я, гордясь, скинул всякое бремя, выпрягся из всякого ига и отучил себя от хождения по путям Твоим. И мне тяжело и Твое иго, и Твое бремя, хотя знаю, что оно благо и легко.

Господи, прости заблуждения юности моей и помоги мне так же радостно нести, как радостно я принимаю иго Твое.

О РЕЛИГИИ



Среди большинства людей современной культурной толпы считается вопросом решенным то, что сущность всякой религии состоит в происшедшем от суеверного страха перед непонятными явлениями природы олицетворении, обоготворении этих сил природы и поклонении им.

Мнение это принимается без критики, на веру культурною толпой нашего времени и не только не встречает возражения в людях науки, но большею частью среди них-то и находит самые определенные подтверждения. Если и раздаются изредка голоса людей, [таких] как Макса Мюллера и других, приписывающих религии другое происхождение и смысл, то голоса эти не слышны и не заметны среди всеобщего единодушного признания религии вообще проявлением суеверий.



Еще недавно, в начале настоящего столетия, самые передовые люди если и отвергали католичество и протестантство, как это делали энциклопедисты конца прошлого столетия, то никто из них не отвергал того, что религия вообще была и есть необходимое условие жизни каждого человека. Не говоря о деистах, как Бернарден де Сент-Пьер, Дидерот и Руссо, Вольтер ставил памятник Богу, Робеспьер устанавливал празднество высшего существа. Но в наше время, благодаря легкомысленности и поверхностному учению Опоста Конта, искренно верившего, как и большинство французов, что христианство есть не что иное, как католичество, и потому в католичестве видевшего полное осуществление христианства,

решено и признано культурною толпой, всегда охотно и быстро принимающей самые низменные представления,— решено и признано, что религия есть только известная, давно уже пережитая фаза развития человечества.



Признается, что человечество пережило уже два периода: религиозный и метафизический, и теперь вступило в третий высший — научный, и что все явления религиозные среди людей суть только переживания когда-то нужного духовного органа человечества, уже давно потерявшего свой смысл и значение, вроде ногтя пятого пальца лошади.



Признается, что сущность религии состоит в вызванном страхом перед непонятными силами природы признании воображаемых существ и поклонении им, как это еще в древности думал Демокрит и как это утверждают новейшие философы и историки религии.



Не говоря уже о том, что признание невидимых сверхъестественных существ или существа происходило и происходит не всегда от страха перед неведомыми силами природы, как свидетельствуют о том сотни самых передовых и высокообразованных людей прошедшего времени, Сократы, Декарты, Ньютоны, и такие же люди нашего времени, никак уже не из страха пред неведомыми силами природы признающие высшее сверхъестественное существо,— утверждение о том, что религия произошла от суеверного страха людей пред непонятными силами природы, в действительности ничего не отвечает на главный вопрос: откуда взялось в людях представление о невидимых сверхъестественных существах?



Если люди боялись грома и молнии, то они и боялись бы грома и молнии, но для чего же они придумали какое-то не-

видимое сверхъестественное существо. Юпитера, которое где-то находится и кидает иногда в людей стрелами?



Если люди были поражены видом смерти, то они и боялись бы смерти, а для чего же они «придумали» души умерших, с которыми стали входить в воображаемое сношение?



От грома люди могли прятаться, от ужаса перед смертью могли бежать от нее, но придумали они вечное и могущественное существо, от которого они считают себя зависимыми, и живые души умерших не от страха только, а по каким-то другим причинам. И в этих-то причинах, очевидно, и заключается сущность того, что называется религией.



Всякий человек когда-либо, хотя бы в детстве, испытывавший религиозное чувство, по своему личному опыту знает, что чувство это вызываемо было в нем не внешними страшными вещественными явлениями, а внутренними, не имеющим ничего общего со страхом перед непонятными силами природы сознанием своего ничтожества, одиночества и своей греховности.



Человек и по внешнему наблюдению и по личному опыту может узнать, что религия не есть поклонение божествам, вызванное суеверным страхом перед неведомыми силами природы, которое свойственно людям только в известный период их развития, а нечто совершенно независимое от страха и от степени образования человека и не могущее уничтожиться никаким развитием просвещения, так как сознание человеком своей конечности среди бесконечного мира и своей греховности, т. е. неисполнения всего того, что он мог бы и должен был сделать, но не сделал, всегда было и всегда будет, до тех пор пока человек останется человеком.



Всякий человек, как только он выходит из животного состояния ребячества и первого детства, во время которого он живет, руководствуясь только теми требованиями, которые предъявляются ему его животной природой,— всякий человек, проснувшись к разумному сознанию, не может не заметить того, что все вокруг него живет, возобновляясь, не умирая и неуклонно подчиняясь одному определенному, вечному закону, а что он только один, сознавая себя отдельным от всего мира существом, приговорен к смерти, к исчезновению в беспредельном пространстве и бесконечном времени и к мучительному сознанию ответственности в своих поступках, т. е. сознанию того, что поступив нехорошо, он мог бы поступить лучше.



Всякий разумный человек не может не задуматься и не спросить себя: для чего это его мгновенное, неопределенное и колеблющееся существование среди этого вечного, твердо определенного и бесконечного мира? Вступая в истинную человеческую жизнь, человек не может обойти этого вопроса.

Вопрос этот стоит всегда перед каждым человеком и всякий человек всегда так или иначе отвечает на него. Ответ же на этот вопрос и есть то, что составляет сущность всякой религии.



Сущность всякой религии состоит только в ответе на вопрос, зачем я живу и каково мое отношение к окружающему меня бесконечному миру.



Вся метафизика религии, все учения о божествах, о происхождении мира суть только различие по географическим, этнографическим и историческим условиям, сопутствующие религии признаки.



Нет ни одной религии, от самой возвышенной и до самой грубой, которая не имела бы в основе своей установления отношения человека к окружающему его миру или первопричине его.



Нет ни одного самого грубого религиозного обряда, так же, как и самого утонченного культа, которые не имели бы в своей основе того же самого.



Всякое религиозное учение есть выражение основателем религии того отношения, в котором он признает себя, как человека, а вследствие этого и всех других людей, к миру или началу и первопричине его.



Человек без религии, т. е. без какого-либо отношения к миру, так же невозможен, как человек без сердца. Он может не знать, что у него есть религия, как может человек не знать того, что у него есть сердце; но как без религии, так и без сердца человек не может существовать.



Религия есть то отношение, в котором признает себя человек к окружающему его бесконечному миру, или началу и первопричине его, и разумный человек не может не находиться в каком-нибудь отношении к нему.



Вы скажете, может быть, что установление отношения человека к миру есть дело не религии, но философии или вообще науки, если рассматривать философию, как часть ее.

Я не думаю этого. Я думаю, напротив, что предположение о том, что наука вообще, включая в нее и философию, может установить отношение человека к миру, совершенно ошибочно и служит главной причиной той путаницы о религии, науке и нравственности, которые существуют в культурных слоях нашего общества.



Наука, включая в нее и философию, не может установить отношения человека к бесконечному миру или началу его уже по одному тому, что прежде, чем могла возникнуть какая-нибудь философия или какая-нибудь наука, должно было уже существовать то, без чего невозможна никакая деятельность мысли и какое-либо, то или другое, отношение человека к миру.



Как не может человек посредством какого бы то ни было движения найти то направление, по которому ему нужно двигаться, а всякое движение неизбежно совершается по какому-нибудь направлению, так точно невозможно посредством умственной работы, философии или науки, найти то направление, в котором должна быть совершена эта работа, а всякая умственная работа неизбежно совершается по какому-нибудь уже данному ей направлению. И такое направление для всякой умственной работы указывает всегда религия.



Все известные нам философы, начиная от Платона до Шопенгауэра, всегда неизбежно следовали даваемому им религией направлению (пути).



Ни философия, ни наука не могут установить отношения человека к миру, потому что отношение это должно быть установлено прежде, чем может начаться какая-либо философия или наука. Они не могут сделать этого еще и потому,

что наука, включая в нее и философию, исследует явления рассудочно и независимо от положения исследующего и от чувств, испытываемых им. Отношение же человека к миру определяется не одним рассудком, но и чувством, всю совокупностью духовных сил человека.



Сколько бы ни внушали и ни разъясняли человеку, что все истинно существующее суть только идеи, что все состоит из атомов, или что сущность жизни есть субстанция или воля, или что теплота, свет, движение, электричество суть различные проявления одной и той же энергии,— все это не уяснить человеку — чувствующему, страдающему, радующемуся, боящемуся и надеющемуся существу — его места в мире. Такое место и потому отношение к миру указывает ему только религия, говорящая ему: мир существует для тебя, и потому бери от этой жизни все, что ты можешь взять от нее; или: ты член любимого Богом народа, служи этому народу, исполняй все то, что предписал Бог, и ты получишь вместе со своим народом наибольшее доступное тебе благо; или: ты орудие высшей Воли, пославшей тебя в мир для исполнения предназначенного тебе дела, познай эту волю и исполняй ее, и ты сделаешь для себя лучшее, что можешь сделать.



Для понимания данных философии и науки нужно подготовление и изучение; для религиозного понимания этого не нужно: оно дано всякому, хотя бы самому ограниченному и невежественному человеку.



Для того, чтобы человеку познать свое отношение к окружающему его миру или началу его, ему не нужно ни философских, ни научных знаний,— обилие знаний, загромаждая сознание, часто даже препятствует этому,— а нужны только хоть временное отречение от суеты мира, сознание

своего материального ничтожества и правдивость, встречающиеся чаще, как это и сказано в Евангелии, в детях и самых простых, малоученых людях.



Часто самые простые, неученые и необразованные люди вполне ясно, сознательно и легко принимают высшее христианское жизнепонимание, тогда как самые ученые и культурные люди продолжают коснеть в самом грубом язычестве.



Мы видим самых утонченных и высокообразованных людей, полагающих смысл жизни в личном наслаждении или в избавлении себя от страданий, как полагал это умнейший и образованнейший Шопенгауэр, тогда как русский полуграмотный мужик-сектант без малейшего усилия мысли признает смысл жизни в том самом, в чем его полагали величайшие мудрецы мира: Эпиктеты, Марки Аврелии, Сенеки, — в сознании себя орудием воли Божией, сыном Бога.



Вы спросите: в чем же состоит сущность этого ненаучного и нефилософского способа познания? Если познание это не философское и не научное, то какое же оно? Чем оно определяется? На эти вопросы я могу ответить только то, что так как религиозное познание есть то, на котором зиждется всякое другое и которое предшествует всякому другому познанию, то мы и не можем определить его, не имея для него орудия определения. На богословском языке познание это называется откровением. И название это, если не приписывать слову «откровение» неверного значения, совершенно правильно, потому что познание это приобретает не изучением и не усилиями отдельного человека или людей, а только восприятием отдельным человеком или людьми проявления бесконечного разума, постепенно открывающего себя людям.



Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же — бесконечного совершенства.



Учение истины, выраженное Христом, не находится в законах и заповедях: оно находится в одном — в смысле, придаваемом жизни. Смысл этого учения в одном в том, что жизнь и благо жизни не в личном счастье, как это думают люди, а в служении Богу и людям.



Платон ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как Отец наш небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей.



Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения иметь свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших.



По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собой по отношению к бесконечному идеалу.



Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения.



С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении выше человека, не обладающего этою добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении.



Христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту находится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.



По учению Христа зло не может быть искоренено злом; всякое противление злу насилием только увеличивает зло.



По учению Христа зло искореняется добром: *«благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших, и не будет у вас врага».*



По учению Христа вся жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом и любовью.



Из всех средств противления злу Христос исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же.



Христианская религия есть то высшее сознание человека своего отношения к Богу, до которого, восходя от низшей к высшей ступени религиозного сознания, достигло человечество.



Христианская религия и все люди, исповедующие истинную христианскую религию, зная, что они дошли до известной степени ясности и высоты религиозного сознания, только благодаря непрестанному движению человечества от мрака к свету, не могут не быть веротерпимы. Признавая себя в обладании только известной степени истины, которая все более и более уясняется и возвышается общими усилиями человечества, они, встречая новые для них, несогласные со своими, верования, не только не осуждают и не отбрасывают их, но радостно приветствуют, изучают, вновь проверяют по ним свои верования, откидывают то, что не согласное с разумом, принимают то, что уясняет и возвышает исповедуемую ими истину, и еще более утверждают в том, что одинаково во всех верованиях.



Веротерпимым может быть только истинное, свободное христианство, не связанное ни с какими мирскими учреждениями и потому ничего и никого не боящееся и имеющее целью только все большее и большее познание божеской истины и большее осуществление ее в жизни.



Для борьбы с грехами человеку нужно понимать и помнить о своем положении в мире и при совершении каждого

поступка оценивать его для того, чтобы не впасть в грех. Для того и другого нужна молитва.



Молитва есть исповедь, проверка прежних и указание направления будущих поступков. Положим, меня оскорбили, и я питаю недоброжелательство к человеку и желаю ему зла, или же желаю сделать ему то добро, которое могу; или я потерял имущество, или любимого человека; или живу, поступая несогласно со своей верой. Если я не молюсь по-настоящему, а продолжаю жить в рассеянии — я не избавлюсь от того мучительного чувства недоброжелательства к оскорбителю; точно так же потеря имущества или любимого человека будет отравлять мне жизнь; и, собираясь поступить не так, как мне велит моя совесть, я буду тревожен. Но если я сам с собой и с Богом проверю себя — все изменится, я обвиню себя, а не врага, и буду искать случая сделать ему добро; потери свои я приму, как испытание, и буду стараться с покорностью переносить их и в том найду утешение; и в поступках своих разберусь: не буду, как прежде, скрывать от себя то несоответствие моей жизни с моей верой, а буду, как-ся, стараться привести их к единству, и в этом старании найду успокоение и радость.

О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ



Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. (Мы говорим: они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком. Спартанцы воспитывали мужественных людей, французы воспитывают односторонних и самодовольных.)



Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим.



Воспитания, как предмета науки, нет. Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму.



Чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия, выражающие только гармонию отношений в смысле правды, красоты и добра. Ложь есть только несоответственность отношений в смысле истины; абсолютной же правды нет. Я не лгу, говоря, что столы вертятся от прикосновения пальцев, если я верю, хотя

это и неправда; но я лгу, говоря, что у меня нет денег, когда, по моим понятиям, у меня есть деньги. Никакой огромный нос не уродлив, но он уродлив на малом лице. Уродливость — только дисгармония в отношении красоты. Отдать свой обед нищему или самому съесть его не имеет в себе ничего дурного; но отдать или съесть этот обед, когда моя мать умирает с голоду, есть дисгармония отношений в смысле добра.



Воспитывая, образовывая, развивая или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессознательно одну цель — достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Если бы время не шло, если бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большею частью самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития. В этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим свой идеал впереди, тогда как он стоит сзади нас.



Необходимое развитие человека есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие, положенное Творцом к достижению высшего идеала гармонии. В этом-то необходимом законе движения вперед заключается смысл того плода дерева познания добра и зла, которого вкусил наш прародитель.



Здоровый ребенок рождается на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе; он близок к неодушевленным существам — к растению, к животному, к природе, которая постоянно представляет для нас ту правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем.



Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты.



«Человек рождается совершенным» — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным.



Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра. Но каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивают пространство, количество и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии, и каждый шаг, и каждый час грозит нарушением этой гармонии, и каждый последующий шаг, и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии.



Большею частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цели. Развитие ошибочно принимается за цель потому, что с воспитателями случается то, что бывает с плохими ваятелями.



Вместо того, чтобы стараться остановить местное преувеличенное развитие или остановить общее развитие, чтобы подождать новой случайности, которая уничтожит происшедшую неправильность, как плохой скульптор, вместо того, чтобы соскоблить лишнее, налепливает все больше и больше, так и воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем.



Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностями и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорее, как можно скорее раздуваем, залепляем бросающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка. То одну сторону надо сравнивать с другой, то другую надо сравнивать с первой. Ребенка развивают все дальше и дальше, и все дальше и дальше удаляются от былого и уничтоженного первообраза, и все невозможнее и невозможнее делается достижение вообразяемого первообраза совершенства взрослого человека. *Идеал наш сзади, а не впереди.*



Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы.



Два правила я бы дал для воспитания: самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей.



Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная.



Все трудности воспитания вытекают от того, что родители, не только не исправляясь от своих недостатков, но да-

же не признавая их недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть этих недостатков в детях. В этом вся трудность и вся борьба с детьми.



Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки своих родителей, но и худший из недостатков — лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям.



Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление, и дети чутки и замечают его сейчас же, и отворачиваются, и развращаются.



Правда есть первое, главное условие действенности духовного влияния и потому она есть первое условие воспитания.



Чтобы не страшно было показать детям всю правду своей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или, по крайней мере, менее дурной. И потому воспитание других включается в воспитание себя, и другого ничего не нужно.



Воспитание есть воздействие на сердце тех, кого мы воспитываем. Воздействовать же на сердце можно только гипнотизацией, которой так подлежат дети, — я говорю о гипнотизации, заразительности примера. Ребенок увидит, что я раздражаюсь и оскорбляю людей, что я заставляю других делать то, что сам могу сделать, что я потворствую своей жадности, похотям, что я избегаю труда для других и ищу только удовольствия, что я горжусь и тщеславлюсь своим положением,

говорю про других злое, говорю за глаза не то, что говорю в глаза, притворяюсь, что верю тому, во что не верю, и тысячи, тысячи таких поступков или поступков обратных: кротости, смирения, трудолюбия, самопожертвования, воздержания, правдивости,— и заражается тем или другим во сто раз сильнее, чем самыми красноречивыми и разумными поучениями. И потому все или 0,999 воспитания сводится к примеру, к исправлению и совершенствованию своей жизни.



То, с чего вы начали внутри себя, когда мечтали об идеале, т. е. о добре, достижение которого несомненно только в себе, к тому самому вы приведены при воспитании детей извне. То, чего вы хотели для себя, хорошенько не зная зачем, то теперь вам уже необходимо нужно для того, чтобы не развратить детей.



От воспитания обыкновенно требуют и слишком много и слишком мало. Требовать того, чтобы воспитываемые выучились тому-то и тому-то, образовались, как мы разумеем образование,— это невозможно; так же невозможно и то, чтобы они сделались нравственными, как мы разумеем это слово. Но совершенно возможно то, чтобы не быть самому участником в развращении детей (и в этом не может помешать ни жене муж, ни мужу жена), а всю свою жизнь, по мере сил своих, воздействовать на них, заражая их примером добра.



Я думаю, что не только трудно, но невозможно хорошо воспитать детей, если сам дурен, и что воспитание детей есть только самосовершенствование, которому ничто не помогает столько, как дети.



Как смешны требования людей, курящих, пьющих, обещавшихся, не работающих и превращающих ночь в день, о

том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ жизни; так же смешны требования людей научить их, как, продолжая вести жизнь безнравственную, можно бы было дать нравственное воспитание детям.



Все дело воспитания состоит в большем и большем сознании своих ошибок и исправления себя от них. А это может сделать всякий и во всех возможных условиях жизни. И это же есть и самое могущественное орудие, данное человеку для воздействия на других людей, в том числе и на своих детей, которые всегда невольно ближе всего к нам. Принцип: *Fais ce que dois, advienne que pourra* [делай, что должно, и пусть будет, что будет] более всего относится к воспитанию.



Воспитание есть следствие жизни. Обыкновенно предполагается, что люди известного поколения знают, какими должны быть люди вообще, и потому могут их готовить к такому состоянию. Это совершенно несправедливо: люди, во-первых, не знают, какими должны быть люди,— могут в лучшем случае знать только идеал, к которому им свойственно стремиться; а во-вторых, люди воспитывающие — сами не совершенны, не воспитаны, и, если только они не мертвы, движутся и воспитываются.



Все воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, т. е. самому двигаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, воспитывают их, и тем более на детей, с которыми они связаны.



Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание.



Основа всякой человеческой жизни есть религиозное жизнепонимание. На основании религии складывается вся жизнь человека и направляется вся его деятельность, и потому понятно, что воспитание, — т. е. приготовление людей к жизни и деятельности — должно быть основано на религии.



В нашем так называемом культурном мире религия не только не признается основой воспитания, не только не признается важным и нужным между другими предметами, но считается одним из самых последних, ненужных предметов, который, как пережиток старины (в который никто серьезно не верит), для приличия, кое-как преподается в школах. Понятно, что при таком условии воспитание не может быть разумно, а все превратно, и, говоря о воспитании, надо начинать все сначала.



В основу всего должно стать религиозное учение такое, какое было бы согласно со степенью просвещения людей без различия национальностей и положений. И такое учение есть — учение христианское в самом простом и разумном его выражении.



Религиозная основа жизни состоит в том, что жизнь наша не имеет другого смысла, как исполнение воли того бесконечного Начала, которого мы создаем себя частью; воля же этого Начала в единении всего живого, — для людей прежде всего выражающаяся в братстве их между собою, в служении друг другу.



Все, что в воспитании содействует единению существ — братству людей, все это должно быть поощряемо; все же разъединяющее, напротив, должно быть устраниваемо. Все,

что более содействует этой цели, то должно быть поставлено прежде, что менее, то — после.



Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог с здравым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных мировоззрений, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем, так называемом христианском обществе. С одной стороны, его приучают к тому, чтобы он все взвешивал, проверял критически, ничего бы не принимал на веру, ему показывают, как суеверия древности тают понемногу перед светом науки, как все, что знает человек, должно быть основано на разуме, и рядом с этим ему предлагают веру, не только не имеющую никаких объяснений, но даже такую, основания которой прямо противоречат разуму.



Различие воспитания от образования только в насилии, право на которое признает за собой воспитание. Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно.



Образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им.



Образование и воспитание представляются нам историческими фактами воздействия одних людей на других; потому задача науки образования, по нашему мнению, есть только отыскание законов этого воздействия одних людей на других.



Мы не только не признаем за нашим поколением знания и не только не признаем права знания того, что нужно для

совершенствования человека, но убеждены, что если — бы знание это было у человечества, то оно не могло бы передать или не передать его молодому поколению.



Мы убеждены, что сознание добра и зла, независимо от воли человека, лежит во всем человеческом и развивается бессознательно вместе с историей; что молодому поколению так же невозможно привить образованием нашего сознания, как невозможно лишать его этого нашего сознания и той ступени высшего сознания, на которую возведет его следующий шаг истории.



Мы убеждены, что образование есть история и потому не имеет конечной цели.



Наше мнимое знание законов добра и зла и на основании их деятельность на молодое поколение есть большею частью противодействие развитию нового сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом поколении, есть препятствие, а не пособие образованию.



Образование в самом общем смысле обнимающее и воспитание, по нашему убеждению, есть та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования. Мать учит ребенка своего говорить только для того, чтобы понимать друг друга; мать инстинктом пытается спуститься до его взгляда на вещи, до его языка, но закон движения вперед образования не позволяет ей спуститься до него, а его заставляет подняться до ее знания. То же отношение существует между писателем и читателем, то же между школой и учеником, то же между правительством и обществами и народом. Деятельность образовывающего имеет одну и ту же цель.



Задача науки образования есть только изучение условий совпадения этих двух стремлений к одной общей цели указания на те условия, которые препятствуют этому совпадению. Наука образования становится для нас вследствие того, с одной стороны, более легкою, не представляя более вопросов: какая есть конечная цель образования, к чему мы должны готовить молодое поколение и т. д.; с другой стороны — неизмеримо труднейшею.



Нам необходимо изучать все те условия, которые способствовали совпадению стремлений образовывающего и образовываемого; нам нужно определить, что такое есть та свобода, отсутствие которой препятствует совпадению обоих стремлений и которая одна служит для нас критерием всей науки образования; нам нужно шаг за шагом из бесчисленного количества фактов подвигаться к разрешению вопросов науки образования.



Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказания родителей, книги, работы, учение, насильственное и свободное, искусства, науки, жизнь — все образовывает.



Образование вообще понимается или как последствие всех тех влияний, которые жизнь оказывает на человека (в смысле «образование человека» мы говорим: образованный человек), или как самое влияние на человека всех жизненных условий (в смысле образование немца, русского мужика, барина, мы говорим: человек получил плохое образование или хорошее и т. п.).



Для того, чтобы открыть ученику новый мир и без знания заставить его полюбить знание, нет книги, кроме Библии. Я говорю — даже для тех, которые не смотрят на Библию, как на откровение. Нет, по крайней мере я не знаю произведения, которое бы соединяло в себе в столь сжатой поэтической форме все те стороны человеческой мысли, какие соединяет в себе Библия. Все вопросы из явлений природы объяснены этой книгой, все первоначальные отношения людей между собой, семьи, государства, религии в первый раз сознаются по этой книге. Обобщение мыслей, мудрость в по-детски простой форме в первый раз захватывает своим обаянием ум ученика. Лиризм псалмов (царя) Давида действует не только на умы взрослых учеников, но, сверх того, каждый из этой книги в первый раз узнает всю прелесть эпоса в неподражаемой простоте и силе. Кто не плакал над историей Иосифа и встречей его с братьями, кто с замиранием сердца не рассказывал историю связанного и остриженного Самсона, который, отмщая врагам, сам гибнет, казня врагов, под развалинами разрушенного дворца, и еще сотни других впечатлений, которыми мы воспитаны как молоком матери?..



Пусть те, которые отрицают воспитательное значение Библии, которые говорят, что Библия отжила, — пусть же они выдумают такую книгу, такие рассказы, объясняющие явления природы, или из общей истории, или из воображения, которые бы воспринимались так же, как библейские, и тогда мы согласимся, что Библия отжила.



Без Библии немыслимо в нашем обществе, так же, как не могло быть мыслимо без Гомера в греческом обществе, развитие ребенка и человека. Библия — единственная книга для первоначального и детского чтения. Библия как по форме, так и по содержанию должна служить образцом всех детских руководств и книг для чтения. Простонародный перевод Библии был бы лучшая народная книга. Появление такого перевода в наше время составило бы эпоху в истории русского народа.

О НАУКЕ



Слово «наука» имеет очень широкое и мало определенное значение, так что то, что одни люди считают наукой, т. е. делом очень важным, считается другими и самым большим количеством людей, всем рабочим народом, ненужными глупостями. И нельзя сказать, чтобы это происходило от необразованности рабочего народа, не могущего понять всего глубокомыслия науки: сами ученые постоянно отрицают друг друга.



Одни ученые считают наукою из наук философию, богословие, юриспруденцию, политическую экономию; другие ученые — естественники — считают все это самым пустым, ненаучным делом, и, наоборот, то, что позитивисты считают самыми важными науками, считается спиритуалистами, философами и богословами, если не вредными, то бесполезными занятиями.



В одной и той же области всякая система среди самих жрецов своих имеет своих горячих защитников и противников, одинаково компетентных, утверждающих противоположное.



В каждой области постоянно являются такие научные положения, которые, просуществовав иногда год, иногда

десятки лет, оказываются вдруг заблуждениями и поспешно забываются теми самими, которые их пропагандировали.



Мы знаем, что то, что считалось исключительно наукой и делом очень важным у римлян, чем они гордились, без чего считали человека варваром, была риторика, т. е. такое упражнение, над которым мы теперь смеемся и считаем не только не наукой, но пустяками.



Мы знаем, что то, что считалось наукой и самым важным делом в средние века, была схоластика, над которой мы теперь также смеемся.



Не нужно особой смелости мысли для того, чтобы и в том огромном количестве знаний, которые в нашем мире считаются важным делом и называются наукой, предугадывать такие, над которыми наши потомки, читая описание той серьезности, с которой мы занимались нашими риторикой и схолистикой, — предметами, признаваемыми в наше время наукой, будут также пожимать плечами.



Дело науки — служить людям. Мы выдумали телеграфы, телефоны, фонограммы; а в жизни, в труде народном, что мы подвинули? Пересчитали два миллиона букашек! А приручили хоть одно животное со времен библейских, когда уж наши животные давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетерев, рябчик, все остаются дикими. Ботаники нашли и клеточку, и в клеточках-то протоплазму, и в протоплазме еще что-то, и в этой штучке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго не кончатся, потому что им, очевидно, и конца быть не может, и потому ученым некогда заняться тем, что нужно людям. И потому опять со времен египетской древности и еврейской, когда уже была

выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растения, кроме картофеля, и то приобретенного не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза и т. п., а прялка, ткацкий станок бабий, соха, топориче, цепи, грабли, ушат, журавец — все такие же, как были при Рюрике. И если что переменялось, то переменялось не научными людьми.



Мы очень радуемся и гордимся тем, что наша наука дает нам возможность воспользоваться энергией водопада и заставить эту силу работать на фабриках, или тому, что мы пробили туннели в горах, и т. п. Но горе в том, что эту силу водопада мы заставляем работать не на пользу людей, а для обогащения капиталистов, производящих предметы роскоши или орудия человекоистребления. Тот же динамит, которым мы рвем горы, чтобы пробивать в них туннели, мы употребляем для войны, от которой мы не только не хотим отказаться, но которую считаем необходимою и к которой не переставая готовимся.



Если мы теперь умеем привить предохранительный дифтерит, найти X-лучами иголку в теле, выправить горб, вылечить сифилис, делать удивительные операции и т. п., то и этими приобретениями, будь они даже неоспоримы, мы не стали бы гордиться, если бы мы вполне понимали действительное назначение настоящей науки.



Если бы хоть $\frac{1}{10}$ тех сил, которые тратятся теперь на предметы простого любопытства и практического применения, тратились на истинную науку, учреждающую жизнь людей, то у большей половины теперь больных людей не было бы таких болезней, от которых вылечивается крошечная часть в клиниках и больницах, не было бы воспитанных на фабриках худосочных, горбатых детей, не было бы вырождения целых поколений, не было бы проституции, не

было бы сифилиса, не было бы убийства сотен тысяч на войнах, не было бы тех ужасов безумия и страданий, которые считает теперешняя наука необходимым условием человеческой жизни.



Мы так извратили понятие науки, что людям нашего времени странно кажется упоминание о таких науках, которые сделали бы то, чтобы не было смертности детей, не было проституции, сифилиса, не было бы вырождения целых поколений и массового убийства людей.



Нам кажется, что наука только тогда наука, когда человек в лаборатории переливает из склянки в склянку жидкости, разлагает спектр, режет лягушек и морских свинок, разводит на особом научном жаргоне смутные, самому ему малопонятные философские, исторические, юридические политико-экономические кружева условных фраз, имеющих целью показать, что то, что есть, то и должно быть.



Настоящая наука, такая наука, которая действительно заслуживала бы то уважение, которого теперь требуют себе люди, наименее важной части науки, вовсе не в этом, — настоящая наука в том, чтобы узнать, чему должно и чему не должно верить, узнать, как должно и как не должно учредить совокупную жизнь людей: как учредить половые отношения, как воспитывать детей, как пользоваться землей, как возделывать ее самому без угнетения других людей, как относиться к иноземцам, как относиться к животным и многое другое, важное для жизни людей.

Такова всегда была истинная наука и таковою она должна быть. И такая наука зарождается в наше время; но, с одной стороны, такая истинная наука отрицается и опровергается всеми теми учеными, которые защищают существующий строй жизни; с другой стороны, она считается пустою и ненужною, ненаучною наукою теми, которые заняты науками опытными.



При науке, полагающей свой предмет не в изучении того, как должны жить люди, а в изучении того, что есть, и потому преимущественно занятой исследованием мертвых тел и оставляющей устройство человеческого общества таким, какое оно есть, никакие усовершенствования, никакие победы над природой не могут улучшить положение людей.

— А медицина? Вы забываете благотельные успехи медицины? А прививки бактерий? А теперешние операции? — восклицают, как обыкновенно, защитники науки в последней инстанции, в доказательство плодотворности всей науки выставляя успехи медицины. — Мы можем прививкой предохранять от болезни и излечивать, можем безболезненно делать операции — разрезать внутренности, очищать их, можем вправлять горбы, — говорят обыкновенно защитники науки, почему-то полагая, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благоговорности науки вообще.



Строй нашей жизни таков, что не только дети, но большинство людей от дурной пищи, непосильной вредной работы, дурных жилищ, одежды, от нужды не доживают половины тех лет, которые они должны бы жить; строй жизни таков, что детские болезни, чахотка, сифилис, алкоголизм захватывают все больше и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается от них на приготовления к войне, что каждые десять—двадцать лет миллионы людей истребляются войной, и все это происходит от того, что наука, вместо того, чтобы распространять между людьми правильные религиозные, нравственные и общественные понятия, вследствие которых сами собой уничтожились бы все эти бедствия, занимается, с одной стороны, оправданием существующего порядка, с другой — игрушками; и нам в доказательство плодотворности науки указывают на то, что она исцеляет одну тысячную тех больных, которые и заболевают-то только от того, что наука не исполняет свойственного ей дела.



Да если бы хоть малую долю тех усилий, того внимания и труда, которые кладет наука на те пустяки, какими она занимается, она направила на установление среди людей правильных религиозных, нравственных, общественных, даже гигиенических понятий, не было бы сотой доли тех дифтеритов, маточных болезней, горбов, исцелением которых так гордится наука, производя эти исцеления в своих поликлиниках, роскошь устройства которых не может быть распространена на всех.

Ведь это все равно, как если бы люди, дурно вспахавшие, дурно посеявшие дурными семенами пашню, стали ходить по этой пашне и залечивать поломанные в хлебе колосья, которые выросли около больных, при этом затаптывая остальные, и это свое искусство в вылечивании больных колосьев выставляли бы в доказательство своего знания земледелия.



Наша наука, для того, чтобы сделаться наукой и действительно быть полезной, а не вредной человечеству, должна прежде всего отречься от своего опытного метода, по которому она считает своим делом только изучение того, что есть, и вернуться к тому единственному разумному и плодотворному пониманию науки, по которому предмет ее есть изучение того, как должны жить люди. В этом цель и смысл науки; изучение же того, что есть, может быть предметом науки только в той мере, в какой это изучение содействует познанию того, как должны жить люди.

ОБ ИСКУССТВЕ



Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здоровым.



С тех пор как есть люди, они из всей деятельности выражения разнообразных знаний выделяли главное выражение знания о назначении и благе человека, и выражение-то этого знания и было искусство в тесном смысле.



С тех пор как есть люди, были те особенно чуткие и отзывчивые на учение о благе и назначении человека, которые на гуслих и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою и людскую борьбу с обманами, отвлекавшими их от их назначения, свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага.



С тех пор как были люди, истинное искусство, то, которое высоко ценилось людьми, не имело другого значения, как выражения науки о назначении и благе человека.



Одновременно с тем, как на место истинной науки о назначении и благе стала наука обо всем, о чем вздумается,— с тех пор и исчезло искусство, как важная деятельность человеческая.



Искусство во всех народах существовало и существует до тех пор, пока то, что теперь у нас презрительно называется религией, считалось единою наукой.



В нашем европейском мире пока была церковь, как учение о назначении и благе, и учение церкви считалось единою истинною наукой, искусство служило церкви и было истинное искусство; но с тех пор как искусство вышло из церкви и стало служить науке, наука же служила чему попало, искусство потеряло свое значение, и, несмотря на заявляемые по старой памяти права и на нелепое, доказывающее только потерю признания утверждение, что искусство служит искусству, оно сделалось ремеслом, доставляющим людям приятное, и, как таковое, неизбежно сливается с хореографическими, кулинарными, парикмахерскими и косметическими искусствами, производители которых с таким же правом называют себя артистами, как и поэты, живописцы и музыканты нашего времени.



Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него, как на средство наслаждения, а рассматривать искусство, как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой.



Всякое произведение искусства делает то, что воспринимающий вступает в известного рода общение с произво-

дившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним прежде или после его восприняли или воспримут то же художественное впечатление.



Как слово, передающее мысли и опыты людей, служит средством единения людей, так точно действует и искусство. Особенность же этого средства общения, отличающая его от общения посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои мысли, искусством же люди передают друг другу свои чувства.



Деятельность искусства состоит в том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражения чувства другого человека, способен испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство.

Самый простой пример: человек смеется — и другому человеку становится весело; плачет — человеку, слышащему этот плач, становится грустно; человек горячится, раздражается, а другой, глядя на него, приходит в то же состояние. Человек высказывает своими движениями, звуками голоса бодрость, решительность или, напротив, уныние, спокойствие — и настроение это передается другим; человек страдает, выражая стонами и корчами свое страдание, — и страдание это передается другим; человек высказывает свое чувство восхищения, благоговения, страха, уважения к известным предметам, лицам, явлениям, — и другие люди заражаются, испытывают те же чувства восхищения, благоговения, страха, уважения к тем предметам, лицам, явлениям.

Вот на этой-то способности людей заражаться чувствами других людей и основана деятельность искусства.



Если человек заражает другого и других прямо, непосредственно своим видом или производимым им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого человека зевать, когда ему самому зевают, или

смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или плачет, или страдать, когда сам страдает, то это еще не есть искусство.



Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его.

Так, самый простой случай: мальчик, испытавший, положим, страх от встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того, чтобы вызвать в других испытанное им чувство, изображать себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п. Все это, если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает слушателей и заставляет их пережить все, что пережил и рассказчик, есть искусство. Если мальчик и не видал волка, но часто боялся его, и, желая вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство в слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка, то это тоже искусство.



Точно так же искусство будет то, когда человек, испытав в действительности или в воображении ужас страдания или прелесть наслаждения, изобразил на полотне или мраморе эти чувства так, что другие заразились ими.



И точно так же будет искусство, если человек испытал или вообразил себе чувство веселья, радости, грусти, отчаяния, бодрости, уныния и переходы этих чувств одного в другое и изобразил звуками эти чувства так, что слушатели заражаются ими и переживают их так же, как он переживал их.



Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дур-

ные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства.



Чувство самоотречения и покорности судьбе или Богу, передаваемое драмой, или восторга влюбленных, описываемое в романе; или чувство сладострастия, изображенное на картине; или бодрости, передаваемое торжественным маршем в музыке; или веселья, вызываемое пляской; или комизма, вызываемого смешным анекдотом; или чувство тишины, передаваемое вечерним пейзажем или убаюкивающей песней,— все это искусство.



Как только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытывал сочинитель, это и есть искусство.



Вызвать в себе раз истинное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство,— в этом состоит деятельность искусства.



Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их.



Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, Бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть про-

явление эмоций внешними знаками, не есть производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах.



Как, благодаря способности человека понимать мысли, выраженные словами, всякий человек может узнать все то, в области мысли сделало для него все человечество, может в настоящем, благодаря способности понимать чужие мысли, стать участником деятельности других людей и сам, благодаря этой способности, может передать усвоенные от других и свои, возникшие в нем, мысли современникам и потомкам, так же точно и благодаря способности человека заражаться посредством искусства чувствами других людей, ему делается доступно в области чувства все то, что пережило до него человечество, делаются доступны чувства, испытываемые современниками, чувства, пережитые другими людьми тысячи лет тому назад. И делается возможной передача своих чувств другим людям.



Искусство тем-то и отличается от рассудочной деятельности, требующей приготовления и известной последовательности знаний (так что нельзя учить тригонометрии человека, не знающего геометрии), что искусство действует на людей независимо от их степени развития и образования, что прелесть картины, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы он ни находился степени развития.



Дело искусства состоит именно в том, чтобы делать приятным и доступным то, что могло быть непонятно и недоступно в виде рассуждений.



Обыкновенно, получая истинно художественное впечатление, получающему кажется, что он это знал и прежде, но только не умел высказать.



Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный — заразительность искусства.



Если человек без всякой деятельности со своей стороны и без всякого изменения своего положения, прочтя, услышав, увидав произведение другого человека, испытывает состояние души, которое соединяет его с этим человеком и другими, так же как и он воспринимающими предмет искусства людьми, то предмет, вызвавший такое состояние, есть предмет искусства.



Как бы ни был поэтичен, похож на настоящий, эффектен или занимателен предмет, он не предмет искусства, если он не вызывает в человеке того, совершенно особенного от всех других чувства радости, единения душевного с другим (автором) и с другими (со слушателями или зрителями), воспринимающими то же художественное произведение.

Правда, что признак этот *внутренний* и что люди, забывшие про действие, производимое настоящим искусством, и ожидающие от искусства чего-то совсем другого, — а таких среди нашего общества огромное большинство, — могут думать, что то чувство развлечения и некоторого возбуждения, которое они испытывают при подделках под искусство, и есть эстетическое чувство, и хотя людей этих разбудить нельзя, так же как нельзя разубедить больного дальтонизмом в том, что зеленый цвет не есть красный, тем не менее признак этот для людей с неизвращенным и неатрофированным относительно искусства чувством остается вполне определенным и ясно отличающим чувство, производимое искусством, от всякого другого.

Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-либо другим, а им самим, и что все то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить.



Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойства искусства.



Испытывает человек это чувство, заражается тем состоянием души, в котором находится автор, и чувствует свое слияние с другими людьми,— то предмет, вызывающий это состояние, есть искусство; нет этого заражения, нет слияния с автором и с воспринимающими произведениями,— и нет искусства.



Но мало того, что заразительность есть несомненный признак искусства, степень заразительности есть и единственное мерило достоинства искусства.



Чем сильнее заражение, тем лучше искусство, как искусство, не говоря о его содержании, т. е. независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает.



Искусство же делается более или менее заразительно вследствие трех условий: 1) вследствие большей или мень-

шей особенности того чувства, которое передается; 2) вследствие большей или меньшей ясности передачи этого чувства, и 3) вследствие искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает.



Чем особеннее передаваемое чувство, тем оно сильнее действует на воспринимающего.



Воспринимающий испытывает тем большее наслаждение, тем особеннее то состояние души, в которое он переносится, и потому тем охотнее и сильнее сливается с ним.



Ясность же выражения чувства содействует заразительности, потому что, в сознании своем сливаясь с автором, воспринимающий тем более удовлетворен, чем яснее выражено то чувство, которое, как ему кажется, он уже давно знает и испытывает и которому теперь только нашел выражение.



Более же всего увеличивается степень заразительности искусства степенью искренности художника.



Как только зритель, слушатель, читатель чувствует, что художник сам заражается своим произведением и пишет, поет, играет для себя, а не только для того, чтобы воздействовать на других, такое душевное состояние художника заражает воспринимающего, и наоборот, как только зритель, читатель, слушатель чувствует, что автор не для своего удовлетворения, а для него, воспринимающего, пишет, поет,

играет и не чувствует сам того, что хочет выразить, так является отпор, и самое особенное, новое чувство и самая искусная техника не только не производят никакого впечатления, но отталкивают.



Я говорю о трех условиях заразительности искусства; в сущности же условие есть только одно последнее — то, чтобы художник испытывал внутреннюю потребность выразить переданное им чувство. Условие это включает в себя первое, потому что если художник искренен, то он выскажет чувство так, как он воспринял его. А так как каждый человек непохож на другого, то и чувство это будет особенно для всякого другого и тем особеннее, чем глубже зачерпнет художник, чем оно будет задушевнее, искреннее. Эта же искренность заставит художника и найти ясное выражение того чувства, которое он хочет передать.



Потребность наслаждения искусством и служение искусству лежат в каждой человеческой личности, к какой бы породе и среде она ни принадлежала, и эта потребность имеет права и должна быть удовлетворена. Принимая это положение за аксиому, я говорю, что если представляются неудобства и несоответственности в наслаждении искусством и воспроизведении его для каждого, то причина этих неудобств лежит не в способе передачи, не в распространении или сосредоточении искусства между многими или некоторыми, но в характере и направлении искусства, в котором мы должны сомневаться как для того, чтобы не навязывать ложного молодому поколению, так и для того, чтобы дать возможность этому молодому поколению вырабатывать новое как по форме, так и по содержанию.



Искусство вместе с речью есть одно из орудий общения, а потому и прогресса, т. е. движения вперед человечества к совершенству.



Речь делает возможным для людей последних живущих поколений знать все то, что узнавали опытом и размышлением предшествующие поколения и лучшие передовые люди современности; искусство делает возможным для людей последних живущих поколений испытывать все те чувства, которые до них испытывали люди и в настоящее время испытывают лучшие передовые люди.



И как происходит эволюция знаний, т. е. более истинные, нужные знания вытесняют и заменяют знания ошибочные и ненужные, так точно происходит эволюция чувств посредством искусства, вытесняя чувства низшие, менее добрые и менее нужные для блага людей более добрыми, более нужными для этого блага. В этом назначение искусства.



Настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка, как плод предшествующей жизни, точно так же как зачатие ребенка матерью.



Поддельное же искусство производится мастерами, ремесленниками безостановочно, только бы были потребители.



Настоящее искусство не нуждается в украшениях, как жена любящего мужа.



Поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено.



Причиной появления настоящего искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство, как для матери причина полового зачатия есть любовь.



Причина поддельного искусства есть корысть, точно так же, как и проституция.



Последствие истинного искусства есть внесенное новое чувство в обиход жизни, как последствие любви жены есть рождение нового человека в жизнь.



Последствие поддельного искусства есть развращение человека, ненасытность удовольствий, ослабление духовных сил человека.



Искусство должно сделать то, чтобы чувства братства и любви к ближним, доступные теперь только лучшим людям общества, стали привычными чувствами, инстинктом всех людей.



Вызывая в людях, при воображаемых условиях, чувства братства и любви, религиозное искусство приучит людей в действительности, при тех же условиях, испытывать те же чувства, проложит в душах людей те рельсы, по которым естественно пойдут поступки жизни людей, воспитанных искусством.



Соединяя же всех самых различных людей в одном чувстве и уничтожая разделение, всенародное искусство воспи-

тывает людей к единению, покажет им не рассуждением, но самую жизнью радость всеобщего единения вне преград, поставленных жизнью.



Назначение искусства в наше время — в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собой, и установить на место царствующего теперь насилия то Царство Божие, т. е. любви, которое представляется всем нам высшею целью жизни человечества.



Искусство не есть наслаждение или развлечение, искусство есть великое дело.



Искусство есть орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство.



В наше время общее религиозное сознание людей есть сознание братства людей и блага их во взаимном единении. Истинная наука должна указать различные образы приложения этого сознания к жизни. Искусство должно переводить это сознание в чувство.



Задача искусства огромна: настоящее искусство, с помощью науки руководимое религией, должно сделать то, чтобы то мирное сожительство людей, которое соблюдается теперь внешними мерами — судами, полицией, благотворительными учреждениями, инспекциями работ и т. п., достиглось свободною и радостною деятельностью людей. Искусство должно устранять насилие. И только искусство может сделать это.



Все то, что теперь, независимо от страха насилия и наказания, делает возможною совокупною жизнь людей (а в наше время уже огромная доля порядка жизни основана на этом), все это сделано искусством.



Если искусством мог быть передан обычай так-то обращаться с религиозными предметами, так-то с родителями, с детьми, с женами, с родными, с чужими, с иноземцами, так-то относиться к старшим, к высшим, так-то к страдающим, так-то к врагам, к животным и это соблюдается поколениями миллионов людей, не только без малейшего насилия, но так, что этого ничем нельзя поколебать, кроме как искусством, то тем же искусством могут быть вызваны и другие, ближе соответствующие религиозному сознанию нашего времени обычаи.



Если искусством могло быть передано чувство благоговения к иконе, к причастию, к лицу короля, стыд перед изменой товариществу, преданность знамени, необходимость мести за оскорбление, потребность жертвы своих трудов для постройки и украшения храмов, обязанности защиты своей чести или славы отечества, то же искусство может вызвать и благоговение к достоинству каждого человека, к жизни каждого животного, может вызвать стыд пред роскошью, пред насилием, пред местью, пред пользованием для своего удовольствия предметами, которые составляют необходимость для других людей; может заставить людей свободно и радостно, не замечая этого, жертвовать собою для служения людям.



Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного че-

ловека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «ну-ка, что ты за человек? и чем отличаешься от всех людей, которых я знаю. И что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев,— мы ищем и видим только душу самого художника. Если же это старый, уже знакомый писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой, а «ну-ка, что можешь ты сказать мне еще нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?» И потому писатель, который не имеет ясного, определенного и нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже не нужно, не может дать художественного произведения. Он может много и прекрасно писать, но художественного произведения не будет.



Писатель дорог и нужен нам только в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю работу своей души, само собой разумеется, если работа эта новая, а не сделанная прежде. Что бы он ни писал: драму, ученое сочинение, повесть, философский трактат, лирическое стихотворение, критику, сатиру, нам дорога в произведении писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, в которую он большею частью, да я думаю и всегда, уродуя их, укладывает свои мысли и чувства.

крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, все наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь.



Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь.



Все, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видеть, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы неверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.



Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем того, что мы теряем из-за него; а теряем мы все — саму жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.



Стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена.



Мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ



Всякий бьется из всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретает то, что требуется, от него потребуются еще и другое и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизнь людей. Возьмите лестницу состояний, от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уж отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры в гостиную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамах, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делает все это.



Мы так привыкли к нашему обману, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска,

обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 35 лет, а дожидался ангела у купели.



Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь; лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остается та же при учении мира и при учении Христа, не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой, свойственной ей цели — благу себе и людям.



Есть только два строго-логические взгляда на жизнь: один ложный — тот, при котором жизнь понимается как те видимые явления, которые происходят в моем теле от рождения и до смерти, а другой истинный — тот, при котором жизнь понимается как то невидимое сознание ее, которое я ношу в себе. Один взгляд ложный, другой — истинный, но оба логичны.



Первый, ложный взгляд, понимающий жизнь как видимые явления в теле от рождения и до смерти, столь же древен, как мир. Это не есть, как думают многие, взгляд на жизнь, выработанный материалистическою наукой и философией нашего времени; наука и философия нашего времени довели только это воззрение до последних его пределов, при которых очевиднее, чем прежде, стало несоответствие

этого взгляда основным требованиям природы человеческой; но это давнишний, первобытный взгляд людей, стоящих на низшей ступени развития; он выражен и у китайцев, и у буддистов, и у евреев, и в книге Иова.

Взгляд этот в своем теперешнем выражении такой: жизнь — это случайная игра сил в веществе, проявляющаяся в пространстве и во времени. То же, что мы называем своим сознанием, не есть жизнь, а некоторый обман чувств, при котором кажется, что жизнь в этом сознании. Сознание есть искра, вспыхивающая на веществе при известном его состоянии. Искра эта вспыхивает, разгорается, опять тухнет и под конец совсем потухает. Искра эта, т. е. сознание, испытываемое веществом в продолжение определенного времени между двух временных бесконечностей, есть ничто.



И, несмотря на то, что сознание *видит само себя и весь бесконечный мир, и судит само себя и весь бесконечный мир, и видит всю игру случайностей этого мира, и, главное, в противоположность чего-то не случайного, называет эту игру случайною*, — сознание это само по себе есть только произведение мертвого вещества, призрак, возникающий и исчезающий без всякого остатка и смысла. Все есть произведение вещества, бесконечно меняющегося; и то, что называется жизнью, есть только известное состояние мертвого вещества.

Таков один взгляд на жизнь. Взгляд этот совершенно логичен. По этому взгляду разумное сознание человека есть только случайность, сопутствующая известному состоянию вещества, и потому то, что мы в своем сознании называем жизнью, есть призрак. Существует только мертвое. То, что мы называем смертью, есть игра смерти.



Другой же взгляд на жизнь такой. Жизнь есть только то, что я сознаю в себе. Сознаю же я всегда свою жизнь не так, что я был или буду (так я рассуждаю о своей жизни), а сознаю свою жизнь так, что я есмь — никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь.



С сознанием моей жизни не соединено понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, в пространстве. Но это только проявление ее. Сама же жизнь, создаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при таком взгляде не существует.



Необходимо как можно чаще напоминать себе, что наша истинная жизнь — не та наружная, материальная, которая происходит здесь, на земле, на наших глазах, а внутренняя жизнь нашего духа, для которой видимая жизнь — только леса, необходимые для постройки здания нашего духовного роста. Леса — те сами по себе имеют лишь временное назначение, по исполнении которого они ни к чему больше не нужны и становятся даже помехою.

Видя перед собой огромные, высоко сооруженные и сложно скрепленные леса, между тем как самое здание едва-едва возвышается над фундаментом, человек склонен ошибаться и придавать большее значение лесам, чем тому сооружаемому зданию, ради которого только и воздвигнуты эти временные леса.

Необходимо напоминать себе и друг другу, что единственный смысл и значение лесов только в том, чтобы дать возможность воздвигнуть самое здание.



Смысл человеческой жизни, понятный человеку, состоит в том, чтобы устанавливать Царство Божие на земле, т. е. содействовать замене себялюбивого, ненавистнического, насильнического, неразумного устройства жизни устройством жизни любовным, братским, свободным и разумным.



Цель, конечная цель человеческой жизни в бесконечном по времени и пространству мире, очевидно, не может быть доступна человеку в его ограниченности. Но смысл человеческой жизни, т. е. зачем он живет и что он должен делать, непременно должно быть понятно человеку, так же понятно, как понятно его назначение работнику на большом заводе.



Хотя конечная цель жизни мира и скрыта от человека. Он все-таки знает, в чем состоит ближайшее дело жизни мира, в котором он признан участвовать; дело это есть замена разделения и несогласия в мире — единением и согласием.



Единение же и служение друг другу составляют смысл и дело жизни, потому что такова воля того Начала, которое правит, руководит миром и составляет основу нашего существования.



Человек не может быть совершенным и безгрешным, он может только более или менее приближаться к совершенству, полагая в этом приближении весь смысл своей жизни. (Я даже думаю, что жизнь после смерти будет состоять, хотя и в совершенно другом виде, но опять только в приближении к совершенству.) В этом личном усилии к совершенству весь смысл и радость жизни. И потому, если бы совершенство достигалось внешними средствами, мы бы были лишены самой сущности жизни.



Очень часто случается слышать и читать споры и рассуждения о том, что должно быть целью человеческой жизни: внутреннее нравственное совершенствование или служение человечеству, установление Царства Божия. Спор этот нико-

гда не может быть разрешен, потому что обе стороны справедливы: и та и другая цель поставлены перед человеком и человечеством. И одна цель не только не исключает другую, но, напротив, обе совпадают и одна обуславливает другую.



Какую цель должен ставить себе каменщик, участвующий в работе здания: наибольшее совершенство работы своего дня или постройку здания? Только тогда достигнет каменщик наибольшего совершенства работы своего дня, когда он будет иметь целью постройку здания, и только тогда он может содействовать постройке здания, когда он будет стремиться совершить наилучшую работу своего дня.



Только поставив себе внешнею целью установление Царства Божия, достигает человек наивысшего совершенства жизни, доступного ему, и только стремясь к этому высшему совершенству жизни и достигая его, содействует человек установлению Царства Божия.



Одинаково ошибается и не исполняет своего назначения тот, кто стремится к улучшению жизни людской, к установлению Царства Божия, не устанавливая его в себе, как и тот, кто стремится к такому личному самосовершенствованию, которое не имеет целью установление Царства Божия вне себя.



Человек поставлен в такие условия, что единственное, возможное для него, истинное, разумное благо состоит в стремлении к личному самосовершенствованию; личное же самосовершенствование таково, что оно достигается только тогда, когда человек признает себя орудием Божиим для установления Его Царства.



«И не придет Царствие Божие видимым образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: Царствие Божие внутри вас есть».



В не переставшем расширении пределов области любви, составляющем сущность рождения духовного существа, и заключается сущность истинной жизни человека в этом мире. Все пребывание человека в этом мире от рождения и до смерти есть не что иное, как рождение в нем духовного существа. Это непрекращающееся рождение есть то, что в христианском учении называется жизнью истинной.



Разница между личной жизнью и жизнью истинной заключается в том, что цель личной жизни состоит в увеличении наслаждений внешней жизни и продолжении ее, и цель эта, несмотря на все усилия, никогда не достигается, потому что человек не властен над внешними условиями, препятствующими наслаждению, и над всякого рода бедствиями, всегда могущими постигнуть его; цель же истинной жизни, состоящая в расширении области любви и увеличения ее, ничем не может быть воспрепятствована, так как все внешние причины, как то: насилие, болезни, страдания, которые мешают достижению цели личной жизни, содействуют достижению цели духовной.



Разница в том, в чем разница между теми рабочими, которые, будучи посланы в хозяйский сад, как это рассказано в евангельской притче, решили, что сад принадлежит им, и потому не отдавали плодов хозяину, и теми, которые признают себя работниками и исполняют порученное хозяином.



По христианскому учению нужно для разрешения противоречия жизни не уничтожить самую жизнь отдельного суще-

ства, что было бы противно воле Бога, пославшего ее, и не покоряться требованиям животной жизни отдельного существа, что было бы противно духовному началу, составляющему истинное я человека, а должно в том теле, в которое заключено это истинное я человека, служить одному Богу.



Истинное я человека есть живущая в нем, постоянно стремящаяся к увеличению, беспредельная любовь, составляющая основу его жизни. Любовь эта заключена в пределы животной жизни отдельного существа и всегда стремится к освобождению себя от нее.



В этом освобождении духовного существа от животной личности, в этом рождении духовного существа и состоит истинная жизнь каждого отдельного человека и всего человечества.



Человечество медленно, но не останавливаясь, движется вперед, т. е. все ближе к большему и большему уяснению сознания истины о смысле и значении своей жизни и установлению жизни сообразно с этим уясненным сознанием. И потому понимание людьми своей жизни и самая жизнь человеческая постоянно изменяются. Люди, более чуткие к истине, понимают жизнь сообразно тому высшему свету, который появился в них, и соответственно этому свету устранивают свою жизнь; люди, менее чуткие, держатся прежнего понимания жизни и прежнего строя жизни и стараются отстоять его.



«Я знаю, что смысл жизни моей не в служении себе, а в служении Богу или людям; но для того, чтобы служение людям было успешно», говорит человек, который подпал этому соблазну, «я могу допустить некоторые отступления от требований совести, если они необходимы для моего совершенствования, приготавливающего меня к будущей полез-

ной людям деятельности: мне нужно прежде выучиться, нужно прежде отслужить срок службы, нужно прежде поправить свое здоровье, нужно прежде жениться, нужно прежде обеспечить средства жизни в будущем, и пока я достигаю этого, я не могу вполне следовать требованиям своей совести, а когда же я окончу это, тогда я начну уже совершенно так, как этого требует моя совесть».

И, признав необходимость заботиться о своей личной жизни для наиболее действенного служения людям и проявления любви впоследствии, человек служит своей личности, совершая грехи — и похоти, и праздности, и разврата даже, и опьянения, — не считая эти грехи важными потому, что он разрешает их себе только на время, на то время, когда все силы его направлены на приготовление себя к деятельному служению людям.

Начав же служить своей личности, сохраняя, усиливая и совершенствуя ее, человек естественно забывает ту цель, для которой он делает это и лучшие годы, а иногда и всю жизнь отдает на такое приготовление к служению, которое никогда не наступает.

Между тем разрешенные себе грехи ради благой цели становятся все привычнее и привычнее, и человек, вместо предполагаемой полезной деятельности для людей, проводит всю жизнь в грехах, губящих его собственную жизнь и соблазняющих других людей и вредящих им.



Поддержание и размножение жизни не может быть целью жизни — это несомненно. Но тут-то и являются две различные точки зрения: одна та, что знание в человеке, в человечестве — наука руководить жизнью, и что потому *цель* жизни, руководимой знанием, должна быть известна этому знанию; и другая: что человек есть орудие разума для совершения его (разума) неизвестного вполне человеку дела, и *цель* его, разума, не может быть известна, а известен человеку только *путь*, направление, по которому ведет его живущий в нем разум. (Иисус Христос все это прекрасно сказал, и я не перестаю удивляться строгости, точности его философских определений).

И в самом деле, разве может быть *цель* для жизни мира и жизни людей (когда они совпадают)? Понятие *цель* есть поня-

тие ограниченности человеческого разума, вроде понятий награды и наказания, и потому понятие, не приложимое к жизни мира. Если есть цель, то она должна быть достигнута, и тогда конец. Для мира вообще есть только жизнь, для участников в жизни мира есть и может быть только направление, путь.

Кроме того: при первой точке зрения предполагается, что вся деятельность человека состоит или, по крайней мере, руководима знанием, и что для достижения цели необходима преимущественно (исключительно, думают часто) деятельность умственная. При второй же точки зрения человек, зная только направление, идет по своему пути весь со всеми своими нервами, мускулами, т. е. весь подчиняется тому направлению, которое одно он знает, и с каждым шагом видит новые вехи на пути, но никогда не видит и не может видеть цели.

И только при этом условии человек может верить вполне тому направлению, по которому он идет, и исполнять то, что требует от него его разум. Только став в условия поддержания и размножения жизни, согласные с разумом, только с начала пути и всем существом избрав единственное истинное направление, путь, он может с полной уверенностью идти дальше и сознавать себя в согласии и единении с разумом; чем ближе эти условия, тем вернее; чем дальше, тем сомнительнее.

Человек употребляет свой разум, чтобы спрашивать, зачем и отчего? — прилагая эти вопросы к жизни своей и жизни мира. И разум же показывает ему, что ответов нет. Делается что-то вроде дурноты [не по себе], головокружения от этих вопросов. Индейцы на вопрос *отчего* говорят: Майя соблазнила Брама, существовавшего в себе, чтобы он сотворил мир; а на вопрос *зачем* не придумали даже и такого глупого ответа. Никакая религия не придумала, да и ум человека не может придумать ответов на эти вопросы.

Что же это значит? А то, что разум человеку не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, — что самое задание таких вопросов означает заблуждение разума. Разум решает только основной вопрос: *как?* И для того, чтобы знать *как*, он решает в пределах конечности вопросы: *отчего?* и *зачем?*

Что же *как?* Как жить. Как же жить? Блаженно.

Этого нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему и мне. И это решение исключает вопросы: *отчего?* и *зачем?*

Но отчего и зачем не сразу расходится блаженство? Опять ошибка разума. Блаженство есть *делание* своего блаженства, другого [блаженства] нет.



Живой человек — тот, который идет вперед. Туда, где освещено впереди его двигающимся фонарем, и который никогда не доходит до конца освещенного места, а освещенное место идет впереди его. И это жизнь. И другой нет; и только при такой жизни нет смерти, потому что фонарь освещает *туда*, и туда уходишь за ним так же спокойно, как и во все продолжение жизни. Если же человек заслонит фонарь или станет освещать вокруг себя или позади, а не впереди, и перестанет идти, то будет остановка жизни.



Но если нет смысла в моей жизни, то его и нет в жизни человека и человечества? Так и говорят древние буддисты и новые пессимисты. То же говорит и Евангелие, но с тою разницей, что буддисты и пессимисты говорят это как последний вывод, из которого следует отрицание жизни; христианство же говорит это, как указание на ложное понимание жизни языческой и на необходимость иного понимания ее, — христианского и утверждения жизни.

Жизнь не имеет цели, понятной человеку, — это самое и говорит христианство. Но не имея такой доступной человеку цели, она имеет ее, и служение этой недоступной человеку цели и составляет назначение человека. Цель, доступная человеку, была бы целью конечной.

Цель же, поставленная теперь перед человеком, бесконечна. И в приближении к ней — смысл жизни человека. Достижимая только в бесконечности цель, поставленная перед человеком, недоступна ему, но направление к достижению ее доступно.

«Как же можно жить, не зная, что будет, не зная, в каких формах будешь жить?»

Только тогда и начинается настоящая жизнь, когда не знаешь, что будет. Только тогда творишь жизнь и исполняешь волю Бога. *Он* знает. Только такая деятельность служит свидетельством веры в Бога и в Его закон. Только тогда и свобода, и жизнь.



Зачем я живу? Не для того же, чтобы было весело; не для того, чтобы произвести, пустить на свет и воспитать таких же, как я, не знающих, зачем они живут, людей; и не для того же, чтобы делать археологические, очень сомнительно нужные людям изыскания.

Без всего можно жить, но не без ответа на этот вопрос. А между тем, в нашем quasi-просвещенном мире считается даже некоторым умственным превосходством не только не знать этого, но утверждать, что этого и нельзя знать.

Ответ на этот вопрос дает только религия. Если та религия, в которую вы верили, разрушена вашим критическим отношением к ней, тотчас ищите другую, т. е. другой ответ на вопрос: зачем вы живете? Как без короля, говорят, нельзя быть минуты: *Le roi est mort, vive le roi!* (Король мертв, да здравствует король!) — так, тем меньше, нельзя минуты быть без этого царя в голове и сердце. Только религия, т. е. ответ на вопрос: зачем я живу? Даст такое дело, при котором можно забыть себя, свою ничтожную, гибнущую и надоевшую себе и столь несносно требовательную личность.



Пища жизни истинная состоит в том, чтобы творить волю пославшего нас сюда и совершить дело Его. Воля же пославшего и дело Его — то, чтобы, во-первых, отдавать оброк за данную нам жизнь добрыми делами; добрые же дела суть те дела, которые увеличивают любовь к людям; а дело Его то, чтобы увеличить, взрастить тот талант, нашу душу, который дан нам. И одно нельзя сделать без другого. Нельзя делать добрых дел, увеличивающих любовь, без того, чтобы не увеличить свой талант, свою душу, не увеличить в ней любовь; и нельзя увеличить свой талант, увеличить любовь в своей душе без того, чтобы не делать добро людям, увеличивая в них любовь. Так что одно зависит от другого, и одно поверяет другое. Если ты делаешь дело, которое считаешь добрым, но не чувствуешь увеличения любви в душе своей, если в твоей душе при этом не радостно, то знай, что дело, которое ты делаешь, не доброе. И если ты что-либо делаешь для своей души, и при этом не увеличивается добро в людях, то знай, что бесполезно то, что ты делаешь для своей души.



Ищите Царствия Божьего и правды Его, и остальное приложится. Ищите того, чтобы быть исполнителями воли Бога и больше ничего, ничего. Все будет: и праведность, и радость, и жизнь, не говоря о хлебе и одежде, которые и не нужны. Нужен только хлеб насущный, — пища жизни, та, про которую Христос сказал: «пища моя творить волю пославшего».



Жизнь — в исполнении воли Бога. В чем эта воля Бога?

Все, что мы можем себе поставить целью, как воля Бога, — все недостаточно, неполно, все только признак, но не самая воля Бога. Так же, как один частный работник не может понять всего дела предпринимателя (как ни жалко, мелко это сравнение воли Бога, т. е. всего, с волей предпринимателя, но оно именно этой несоразмерностью тем более показывает невозможность человеку понять волю Бога). Есть и для нас признак того, что мы делаем волю Бога, но самую волю Бога никогда не узнаем. По всем этим признакам мы можем узнавать то, что мы делаем волю Его: то же, в чем именно состоит Его воля, всегда останется для нас тайною.

И так и должно быть. Не могло бы быть жизни, жизни вечной, если бы цель, к которой мы стремимся, была понятная нам, — следовательно, конечная.

Признаки же того, что живем мы по Его воле, а не против нее, даны нам самые несомненные, как для лошади, которую вожжи пускают идти только в одном направлении.

Самый первый, главный, несомненный признак, которым мы так склонны пренебрегать — это отсутствие ощущения духовного страдания (как у лошади отсутствие ощущения боли от удил). Если испытываешь полную свободу, ничем не нарушимую, то живешь по воле Божьей.

Другой признак, поверяющий первый, это ненарушение любви к людям. Если не чувствуешь враждебности ни к кому и знаешь, что к тебе не чувствуют зла, ты в воле Бога.



Третий признак, опять поверяющий первый и поверяемый ими, есть рост духовный. Если чувствуешь, что делаешься духовнее, побеждаешь животное, — ты в воле Бога.



Мы знаем, верно знаем, когда мы живем по воле Бога. Но не знаем мы самую волю Бога, и нам надо помнить, надо знать, что мы не знаем и не можем знать ее; а не выставять себе цели внешние, отождествляя их с волей Божьей, как бы ни высоки казались нам эти цели.



Главное заблуждение жизни людей — то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению и отвращение от страдания. И человек один, без руководства, отдается этому руководителю, ищет наслаждения и избегает страдания и в этом полагает и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. А если бы была, то что за нелепость: цель — наслаждения, а их нет и не может быть. А если бы они и были, — конец жизни — смерть, всегда сопряженная со страданиями. Если бы моряк решил, что цель его — миновать подъемы волн, — куда бы он заехал? Цель жизни вне наслаждений и страданий. Она достигается прохождением через них. Наслаждения, страдания — это дыхание жизни: вдыхание и выдыхание, пища и отдача ее. Положить свою цель в наслаждении и избежании страданий — значит потерять путь, пересекающий их. Цель жизни общая или духовная.



Жить можно только дурно — похотями, и хорошо — только одним: добротой, желанием, усилием быть добрым, добрее.



Жизнь моя — не мой — не может иметь целью мое благо, а Того, кто послал меня; и цель ее — исполнение Его дела. И только через исполнение Его дела я могу получить благо.



Цель жизни — благо. Благо только в служении Богу. Служение Богу — в увеличении любви в мире. Увеличение любви в мире достигается только увеличением и проявлением любви в себе. Любовь же в себе дает нам то высшее благо, к которому мы стремимся.



Задача человека — в том, чтобы исполнить в этой жизни то, для чего он послан в нее Богом, от которого он исшел и к которому придет. Хочет же Бог от человека того, чтобы он (человек) тратил свою жизнь, свое тело на служение благу мира, благу всех людей и всех существ. Делать же это может человек, отрекаясь от своей животной личности и вызывая в себе любовь к людям и всем существам.



В человеке есть духовная, бессмертная, божественная сущность, и есть его животная личность. Если человек будет думать, что жизнь его в его теле, — будет служить телу, он погубит свою душу и не исполнит своей задачи; если же он будет считать собою свою божественную, духовную сущность и будет жить для нее, жить по-Божьи, будет желать того, чего желает Бог, т. е. не своего блага, а блага всех существ, то он исполнит свою задачу и получит истинное благо.



В чем суть того дела, которое должно идти параллельно строго выдержанной жизни? Дело, которое мы призваны делать в жизни, — двоякое, хотя и достигается одним и тем же действием: внешнее дело состоит в том, чтобы своей жизнью содействовать установлению Царства Божия на земле, т. е. замене вражды, борьбы и разъединения — согласием, взаимной помощью и единением, — таким состоянием, при котором копыта были бы перекованы на серпы... и т. д. Содействовать этому мы можем правдивостью в словах и делах; внутреннее дело состоит в совершенствовании, в приближении к Богу.



«Будьте совершенны, как Отец наш небесный». Для того же, чтобы постоянно совершенствоваться, нужно увеличивать в себе любовь, т. е. расширять круг своей любви, любить не за то, что нам приятно, а любить, как Бог любит существа, только затем, чтобы желать и доставлять им благо. Для того же, чтобы увеличивать в себе любовь, нужно только не мешать ей направляться и расти. Она всегда сама собой стремится к увеличению. Мешают же проявлению любви соблазны. Соблазны же состоят в том, чтобы считать своим благом и целью своей жизни благо животной личности, а не увеличение любви. Увеличение любви и есть то действие, посредством которого достигаются обе цели: и содействие установлению Царства Божия, и достижения наивысшего совершенства... Такая жизнь имеет за себя более вероятий счастья даже земного, чем жизнь мирская, имеющая целью благо животной личности. Такая жизнь не исключает всех самых доступных всем радостей, доставляемых и природой, и весельем, и пением, и дружбой, и общением с людьми и животными.



Жизнь для себя — муки, потому что хочется жить для иллюзии, для того, чего нет, и это не может быть не только счастливо, но [и просто] не может быть. Все равно как одевать и кормить тень. Жизнь только вне себя, в служении другим и не в служении близким, любимым — это опять для себя, а в служении тем, кого не любишь, еще лучше — в служении врагам.



Нам дан коротенький срок для пребывания тут: вот-вот нас всех или по одиночке уберут опять туда — и на наших глазах уже убирают некоторых — и нам дано на выбор: провести этот короткий неопределенный срок радостно, отдаваясь вложенному в нас чувству сострадания и любви друг к другу, или спорить, ссориться, драться и всякими жестокостями устанавливать такой порядок вещей, который, мы знаем, не продолжится и несколько лет, который мы сами не одобряем; провести данное нам мгновение, любя друг

друга и пользуясь взаимной лаской и любовью, или употребить все свои силы на то, чтобы в это короткое время сколь возможно больше измучить, озлобить друг друга и с злобой, упреками и проклятиями быть убранным опять туда, откуда нас выпустили.



Для того, чтобы быть твердым и не унывать, нужно, главное, ясно понимать и не забывать единственный разумный и радостный смысл нашей жизни, состоящий в том, чтобы не только пронести через эту жизнь, не потушив ее, ту искру божественной любви, которая вложена в нас и составляет нашу душу, но разжечь ее, сколько хватит наших сил, чтобы внести и в ту жизнь уже не искрой, а пламенем.



Смысл жизни только один: самосовершенствование — улучшать свою душу. Будьте совершенны, как Отец наш небесный. Когда тяжело, когда мучает что, вспомни, что в жизни только ты — жизнь, и сейчас станет легко и радостно. Как радуется богач, собирая свое богатство, так радуешься и ты, если только положил в этом одну жизнь. А для достижения этого — преград нет. Все, что кажется горем, преградой в жизни, — широкая ступень, сама подставляющаяся тебе под ноги, чтобы ты поднялся.



Языческое понимание говорит тебе, что жизнь твоя — твоя плотская собственность; христианство говорит тебе, что жизнь твоя есть только сад, который дан был виноградарям со всеми деревьями и колодезем и плодами только для того, чтобы виноградаря, пользуясь садом, отдавали хозяину плоды его.



Начало и конец всего — в душе человека. Каждый человек, кроме своей плотской жизни, кроме понятного ему зачатия от плотского отца в утробе плотской матери, сознает в себе дух свободный, разумный и независимый от плоти.



Этот-то дух, бесконечный и исшедший от бесконечного, и есть начало всего и то, что мы называем Богом. Мы знаем его только потому, что знаем его в себе. Этот дух есть начало нашей жизни, и его надо поставить выше всего, им надо жить. Сделав этот дух основой жизни, мы получаем истинную, бесконечную жизнь. Тот Отец-дух, который послал этот дух в людей, не мог послать его затем, чтобы обмануть людей — чтобы люди, сознавая в себе бесконечную жизнь, потеряли ее. Если есть в человеке бесконечный дух, то он должен был быть дан затем, чтобы люди имели в нем бесконечную жизнь. И потому человек, в этом духе полагающий свою жизнь, имеет жизнь бесконечную. Человек, не в этом духе полагающий свою жизнь, не имеет жизни. Люди могут сами выбирать жизнь и смерть. Жизнь — в духе, смерть — во плоти. Жизнь духа есть добро, свет; жизнь плоти — зло, тьма. Верить в дух значит творить добро, не верить — творить зло. Добро есть жизнь, зло есть смерть. Бога, внешнего Творца, Начала всех начал, мы не знаем. Все, что мы можем представить себе о Нем, это — то, что Он посеял в людях дух, и посеял, как сеет севец, везде, не разбирая земли, и семя, попавшее на хорошую землю, растет, а на не удобренную — погибает. Только дух дает жизнь людям, и от людей зависит, удержать или потерять ее. Зла не существует для духа. Зло — это только подобие жизни. Есть только живое и не живое.

О БРАКЕ И ЖЕНЩИНАХ



В человеке вложена потребность поддержания рода — половая потребность, и человек в животном состоянии, отдаваясь ей, исполняет этим свое назначение и в этом исполнении своего назначения находит благо.



Человек должен всегда, во всех обстоятельствах — женат он или холостой, — быть, по возможности, целомудренным, как это Христос, а после него Павел высказал. Если он может быть настолько сдержанным, что не знает женщины вообще, то это самое лучшее, что он может сделать. Если же он не может удержать себя, то он должен по возможности редко поддаваться этой слабости, а никак не смотреть на половое общение, как на «jouissance». Я думаю, что всякий искренний и серьезный человек не может иначе смотреть на дело, и что все такого рода люди в этом согласны.



Не целомудрия задачу должен себе задавать человек, а приближение к целомудрию. Целомудренным живой человек, строго говоря, не может быть. Живой человек может только стремиться к целомудрию, именно потому, что он не целомудрен, а похотлив.



Если бы человек не был похотлив, то для него не было бы никакого целомудрия и понятия о нем.



Ошибка в том, чтобы задавать себе задачу целомудрия (внешнего состояния целомудрия), а не стремления к целомудрию, внутреннего признания всегда во всех условиях жизни преимущества целомудрия перед распушенностью, преимущества большей чистоты перед меньшей.

Ошибка эта очень важная. Для человека, поставившего задачею внешнее состояние целомудрия, отступление от этого внешнего состояния, падение,— разрушает все и прекращает возможность деятельности и жизни; для человека, поставившего себе задачей стремление к целомудрию, нет падения, нет прекращения деятельности; и искушения, и падение могут не прекращать стремления к целомудрию, часто даже усиливают его.



Если люди влекутся к половому общению, то это происходит для того, чтобы то совершенство, которого не достигло одно поколение, было возможно достигнуть в следующем. Удивительная в этом отношении премудрость Божия: человеку предписано совершенствоваться: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный».



Верный признак совершенства есть целомудрие истинное; целомудрие,— не на деле только, но и в душе, т. е. и полное освобождение от половой похоти.



Если бы люди достигли совершенства и стали бы целомудренны, род человеческий прекратился бы и незачем ему было бы жить на земле, потому что люди стали бы, как ангелы, которые не женятся и замуж не идут, как сказано в

Евангелии. Но пока люди не достигли совершенства, они производят потомство, и потомство это совершенствуется и достигает того, чего велел достигать Бог, и все ближе и ближе приближаются к совершенству.



Если бы люди поступали бы так, как скопцы, то род человеческий прекратился бы и никогда не достиг бы совершенства, не исполнил бы воли Бога.

Это одна причина, по которой я считаю, что скопцы поступают неправильно; другая — та, что евангельское учение дает людям благо, и Христос говорит: «иго мое благо, и бремя мое легко», и запрещает всякое насилие над людьми; и потому нанесение ран и страданий, даже хоть бы и не другим (что уже есть явный грех), а себе есть нарушение христианского закона.



Никакой род преступлений людских против нравственного закона не скрывается с такою тщательностью людьми друг перед другом, как преступления, вызываемые половой похотью; и нет преступления против нравственного закона, которое было бы так обще всем людям, захватывая их в самых разнообразных и ужасных видах; нет преступления против нравственного закона, на которое смотрели бы так несогласно люди: одни — считая известный поступок страшным грехом, другие — тот же поступок самым обычным удобством или удовольствием; нет преступления, на счет которого было бы высказываемо столько фарисейства; нет преступления, отношение к которому показывало бы так верно нравственный уровень человека; и нет преступления более губительного для отдельных людей и для движения вперед всего человечества.

Мысли эти очень просты и ясны для того, кто мыслит, чтобы познать истину. Станными, парадоксальными, даже несправедливыми эти мысли кажутся только тому, кто рассуждает не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы свою жизнь со всеми ее пороками и заблуждениями считать истинной.



Назначение человека есть служение Богу, состоящее в проявлении любви ко всем существам и людям; человек же, отдающийся похоти любви, ослабляет свои силы и отвлекает их от служения Богу и потому, предаваясь половой похоти, лишает себя блага истинной жизни.



Кроме того, что человек, предающийся половой похоти в какой бы то ни было форме, лишает себя блага истинного, он не достигает и того блага, которого ищет.



Если человек живет в правильном браке, вступая в половое общение только тогда, когда могут быть дети, и воспитывает детей, то неизбежно наступают для матери страдания и заботы, для отца заботы о матери и ребенке, взаимные охлаждения и частые ссоры между супругами и родителями и детьми.



Если же человек вступает в половое общение без цели возвращения и воспитания детей, старается не иметь их, а имея, не заботится о них и меняет предметы любви, то еще менее становится возможным благо отдельного существа и человек несомненно подвергается страданиям тем более жестоким, чем более он предается половой страсти: являются расслабление физических и духовных сил, ссоры, болезни. И нет того утешения, которое имеют живущие в правильном браке супруги — семьи и всей ее помощи и радости.

Таковы последствия греха блуда для совершающего, для других же людей они состоят в том, во-первых, что то лицо, с которым совершается грех, несет те же последствия греха: лишение истинного и временного блага и те же страдания и болезни; для окружающих же: уничтожение детей в зародыше, детоубийство, оставление детей без призрения и воспитания и ужасающее зло, губящее души людские — проституция.



Уничтожить в себе стремление к похоти не может ни одно живое существо, не может и человек, если не принимает в расчет исключения. Оно и не может быть иначе, так как похоть эта обеспечивает существование рода человеческого и потому пока высшей воле нужно будет существование человеческого рода, будет в нем и блуд.

Но блуд этот может быть доведен до наименьшей степени и некоторыми людьми может быть доведен до полного целомудрия. И в этом-то уменьшении и доведении его до наименьшей степени и даже до целомудрия для некоторых, как сказано в Евангелии, и состоит борьба с грехом блуда.



Для того, чтобы избавиться от греха блуда, человеку надо понимать и помнить, что блуд есть необходимое условие жизни всякого животного и человека, как животного, но что пробудившееся в человеке разумное сознание требует от него обратного, т. е. полного воздержания, полного целомудрия, и чем больше он будет предаваться блуду, тем меньше он получит не только истинного, но и временного животного блага и тем больше он доставит страдания и себе и другим людям.



Для того, чтобы противодействовать привычке греха, человек должен начинать с того, чтобы не увеличивать в себе того греха блуда, в котором он находится. Если человек целомудрен, пусть не нарушает своего целомудрия; если женат, пусть остается верен своему супругу; если он имеет общение со многими, пусть продолжает жить так, не придумывая неестественных приемов разврата. Пусть не изменяет своего положения и не увеличивает своего греха блуда. Только бы люди исполняли это и уничтожились бы большие страдания их.



Жениться, чтобы веселей было жить — никогда не удается. Поставить своей главной, заменяющей все другие, це-

лю — женитьбу — соединение с тем, кого любишь, — есть большая ошибка. И очевидная, — если вдуматься. Цель — женитьба. Ну женись, а потом что? Если цели жизни другой не было до женитьбы, то потом, вдвоем, ужасно трудно, почти невозможно найти ее. Даже наверное, если не было общей цели до женитьбы, то потом уж ни за что не сойдется, а всегда разойдетесь. Женитьба только тогда дает счастье, когда цель одна; люди встретились по дороге и говорят: «давай, пойдем вместе». «Давай», и подают друг другу руку; а не тогда, когда они притянутые друг к другу, обе свернули с дороги.



Жениться надо никак не по любви, а непременно с расчетом, только понимая эти слова как раз наоборот тому, как они обыкновенно понимаются, т. е. жениться не по чувственной любви, а по расчету, не тому, где и чем жить (все живут), а по тому расчету, насколько вероятно, что будущая жена будет помогать, а не мешать мне жить человеческой жизнью.



Для того, чтобы двум супругам быть счастливыми, как это пишется в романах и как этого желает всякое сердце человеческое, нужно, чтобы было между ними согласие. Для того же, чтобы было согласие, нужно, чтобы муж и жена совершенно одинаково смотрели на мир и на смысл жизни (это особенно нужно по отношению детей). То же, чтобы муж и жена одинаково понимали жизнь, стояли бы на одной и той же степени понимания, так же редко может случиться, как то, чтобы один лист дерева вполне покрывал другой. А так как этого нет, то единственная возможность согласия, и потому счастье, состоит в том, чтобы один из двух подчинил свое понимание другому.



Не усиливайте своей привязанности друг к другу, но всеми силами усиливайте осторожность в отношениях, чуждость, чтобы не было столкновений. Это привычка ужасная.



Ни с кем, как [только] с женой и мужем, нет таких близких всесторонних отношений, и мы всегда от этого самого забываем думать о них, сознавать их, как перестаем сознавать свое тело. И это-то беда.



Как часто бывает, что года видите семейство под одною и тою же ложною завесой приличия, и истинные отношения его членов остаются для вас тайной. (Я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от нас отношения). Но случится раз, совершенно неожиданно, поднимется в кругу этого семейства какой-нибудь блонде или визите, о мужниных лошадях, — и без всякой видимой причины спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг, к ужасу самих спорящих и к удивлению присутствующих все истинные, грубые отношения вылезают наружу, завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего размаха удариться головой о притолоку, как чуть-чуть, легонько дотронуться до наболевшего, натруженного места. И такое натруженное, больное место бывает почти в каждом семействе.



Для того, чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же отношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может быть предпринято. Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия.



Если бы только женщины поняли свое назначение, свою силу и употребили ее на дело спасения своих мужей, братьев и детей!



Не те женщины, которые заняты своими талиями, турнюрами, прическами и пленительностью для мужчин и против своей воли, по недоглядке, с отчаянием рожают детей и отдают их кормилицам; и не те тоже, которые ходят на разные курсы и говорят о психомоторных центрах и дифференциации и тоже стараются избавиться от рождения детей, с тем, чтобы не препятствовать своему одурению, которое они называют развитием, — а те женщины и матери, которые, имея возможность избавиться от рождения детей, прямо, сознательно подчиняются этому вечному, неизменному закону, зная, что тягость и труд этого подчинения есть назначение их жизни, вот эти-то женщины и матери наших богатых классов — те, в руках которых, больше чем в чьих-нибудь других, лежит спасение людей нашего мира от удручающих их бедствий.



Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющиеся закону Бога, вы одни знаете в нашем несчастном, изуродованном, потерявшем образ человеческий кругу, вы одни знаете весь настоящий смысл жизни, по закону Бога, и вы одни своим примером можете показать людям то счастье жизни в подчинении воле Бога, которого они лишают себя.



Вы одни знаете те восторги и радости, захватывающие все существо, то блаженство, которое предназначено человеку, не отступающему от закона Бога.



Вы знаете счастье любви к мужу, — счастье не кончающееся, не обрывающееся, как все другие, а составляющее начало нового счастья — любви к ребенку.



Вы одни, когда вы просты и покорны воле Бога, знаете не тот шуточный парадный труд, который мужчины вашего круга называют трудом, а знаете тот, истинный, Богом по-

ложенный людям труд, и знаете истинные награды за него — то блаженство, которое он дает.



Вы знаете это, когда после радостей любви вы с волнением, страхом и надеждой ждете того мучительного состояния беременности, которое сделает вас больными на 9 месяцев, приведет вас на край смерти и к невыносимым страданиям и болям; вы знаете условия истинного труда, когда вы с радостью ждете приближения и усиления самых страшных мучений, после которых наступает вам одним известное блаженство.



Вы знаете это тогда, когда тотчас же после этих мук, без отдыха, без перерыва вы беретесь за другой ряд трудов и страданий — кормление, при котором вы сразу отказываетесь и покоряете своему чувству самую сильную человеческую потребность сна, которая, по пословице, милее отца и матери, и месяцы, годы не спите подряд ни одной ночи, а иногда — и часто — не спите напролет целые ночи и с затекшими руками одиноко ходите, качаете разрывающего вам сердце больного ребенка.



И когда вы делаете все это, никем не одобряемые, никому не видимые, ни от кого не ожидающие за это похвалы или награды, когда вы делаете это не как подвиг, а как работник евангельской притчи, пришедший с поля, считая, что вы сделали только то, что должно, тогда вы знаете, что фальшивый парадный труд для славы людской и что настоящий — исполнение воли Бога, которой указания вы чувствуете в своем сердце.



Вы знаете, что если вы настоящая мать, что мало того, что никто не видел вашего труда, не хвалил вас за него, а только находили, что это так и нужно, но что и те, для кого вы трудились, не только не благодарят, но часто мучают,

укоряют вас. И с следующим ребенком вы делаете то же: опять страдаете, опять несете невидимый, страшный труд и опять не ждете ни от кого награды и чувствуете все то же удовлетворение.



Если вы такие, то вы не скажете ни после двух, ни после двадцати детей, что довольно рожать, как не скажет 50-ти летний работник, что довольно работать, когда он еще ест и спит и мускулы его просят дела; если вы такие, вы не свалите с себя заботы кормления и ухода на чужую мать, как не даст работник другому человеку кончать его начатую и почти конченную работу, потому что в этой работе вы кладете свою жизнь, и потому тем полнее и счастливее ваша жизнь, чем больше этой работы. А когда вы такая — и такие еще есть, к счастью людей, — то тот же закон исполнения воли Бога, которым вы руководитесь в своей жизни, вы приложите и к жизни вашего мужа и ваших детей и близких вам.



Если вы такая и знаете по себе, что только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд, с опасностью жизни и до последних пределов напряжения для жизни других, есть то призвание человека, которое дает ему удовлетворение, то эти же требования вы будете заявлять и к другим, к этому же труду будете готовить своих детей.



Только та женщина-мать, которая смотрит на свое рождение детей, как на неприятную случайность, а на свои удовольствия любви, удобства жизни, образования, общности — как на смысл жизни, будет воспитывать детей так, чтобы они имели как можно больше удовольствий и как можно больше пользовались ими: будет сладко кормить, наряжать, искусственно веселить их, будет учить их не тому, что бы сделало их способными к самоотверженному с опасностью жизни и до последних пределов напряжения мужскому и женскому труду, а тому, что бы избавило их от этого труда.



Только такая женщина, потерявшая смысл своей жизни, будет сочувствовать тому обманному, фальшивому мужскому труду, при котором муж ее, освободив себя от обязанности человека, имеет возможность пользоваться вместе с нею трудами других. Только такая женщина будет выбирать такого же мужа своей дочери и оценивать людей не тем, что они сами такое, а тем, что с ним связано: положением, деньгами, умением пользоваться чужими трудами.



Настоящая же мать, зная на деле волю Бога, к исполнению ее будет готовить и детей своих. Для таких матерей видеть своего перекормленного, изнеженного, разряженного ребенка будет страданием, потому что все это, она знает, затруднит для него изведенное матерью исполнение воли Бога.



Такая мать будет учить не тому, что даст сыну или дочери возможность освободить себя от труда, а тому, что может ему нести труд жизни. Ей не нужно будет спрашивать, чему учить, к чему готовить детей: она знает, зачем, в чем призвание людей, и потому знает, чему надо учить и к чему готовить детей.



Такая женщина не только не будет поощрять мужа к обманному, фальшивому труду, имеющему только целью пользование трудом других, но с отвращением и ужасом будет относиться к такой деятельности, служащей двойным соблазном для детей; такая женщина не будет выбирать мужа дочери по белизне его рук и утонченности манер, а твердо зная, что — труд и что — обман, будет всегда и везде, начиная со своего мужа, уважать и ценить в мужчинах, требовать от них настоящий труд, с тратой и опасностью жизни, и презирать тот фальшивый парадный труд, который имеет целью избавление себя от истинного труда.



Такая мать *сама родит, сама выкормит*, сама будет, прежде всего другого, кормить и готовить пищу детей, и шить, и мыть, и учить своих детей, и спать, и говорить с ними, потому что в этом она полагает все дело своей жизни.



Только такая мать не будет искать для своих детей внешних обеспечений в деньгах своего мужа, в дипломах детей, а будет воспитывать в них ту самую способность самоотверженного исполнения воли Божией, которую она в себе знает,— способность несения труда с тратою и опасностью жизни, потому что знает, что в этом одном обеспечении и благо жизни.



Только такая мать не будет спрашивать у других, что ей делать,— она все будет знать и ничего не будет бояться.



Если могут быть сомнения для мужчины и для бездетной женщины о том пути, на котором находится исполнение воли Бога, для женщины-матери путь этот твердо и ясно определен; и если она покорно, в простоте душевной, исполнила его, она, становясь на эту высшую точку блага, до которой дано достигнуть человеческому существу, становится путеводной звездой для всех людей, стремящихся к благу.



Только мать может пред смертью спокойно сказать Тому, Кто послал ее в этот мир, и Тому, Кому она служила рождением и воспитанием любимых больше себя детей,— только она может спокойно сказать, сослужив Ему положенную ей службу: «Ныне отпускаешь раба Твоего», а это и есть то высшее совершенство, к которому, как к высшему благу, стремятся люди.



Вот такие-то, исполнившие свое признание, женщины властвуют над властвующими мужчинами; такие-то женщины готовят новые поколения людей и устанавливают общественное мнение, и потому в руках этих женщин высшая власть спасения людей от существующих и угрожающих зол нашего времени.



Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь руках, спасение мира!



Мода умственная — восхвалять женщин, утверждать, что они не только равны по духовным способностям, но выше мужчин,— очень скверная и вредная мода.



То, что женщины не должны быть ограничены ни в каких правах, то, что к женщине надо относиться так же, с тем же уважением и любовью, как и к мужчине, что она равна в правах с мужчиной,— в этом не может быть никакого сомнения; но утверждать, что женщина, в среднем, одарена тою же духовною силою, как и мужчина, ожидать встретить в каждой женщине то же, что ожидаешь встретить в каждом мужчине, значит умышленно обманывать себя, и — обманывать себя во вред женщине.



Если мы будем ждать от женщины того, чего ждем от мужчины, то и будем требовать этого, а не встретим требуемого,— будем раздражаться, будем приписывать злой воле то, что происходит от невозможности.



Так что признание женщины тем, что она есть,— более слабым духовно существом,— не есть жестокость к женщине; признание их равными есть жестокость.



Слабостью или меньшей силой духовной я называю меньшую покорность плоти духу, в особенности — главная черта женская — меньшую веру велениям разума.



Что может быть глупее и вреднее для женщин модных толков о равенстве полов, даже о превосходстве женщин над мужчинами! Для человека с христианским мирозерцанием не может быть, само собою разумеется, вопроса о том, чтобы предоставить какие-нибудь права исключительно мужчине, о том, чтобы не уважать и не любить женщину так же, как и всякого человека; но утверждать, что женщина имеет те же духовные силы, как и мужчина, — особенно то, что женщина может так же руководима разумом — может так же верить ему, как и мужчина, это значит требовать от женщины того, чего она не может дать (я не говорю об исключениях, а о средней женщине и среднем мужчине), и вызывать в ней раздражение, основанное на предположении, что она не может делать, не имея для этого категорического императива в разуме.



Женщины всегда признавали над собою власть мужчины. И не могло быть иначе в мире нехристианском. Мужчина сильнее и мужчина властвовал. Так было во всем мире (исключая сомнительных амазонок и закон материнства), и так и теперь среди 0,999 рода человеческого. Но явилось христианство и признало совершенства не в силе, а в любви, и тем освободило всех покоренных и пленных, и рабов, и женщин. Но для того, чтобы свобода рабов и женщин не была бедствием, нужно, чтобы освобожденные были христиане, т. е. полагали жизнь свою в служении Богу и людям, а не в служении себе... Что же нужно делать? Делать нужно одно: привлекать людей к христианству, обращать их в христиан. Делать же это можно, только исполняя в жизни закон Христа.

О НРАВСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА



Все люди живут и действуют отчасти по своим правилам, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собой. Одни люди в большинстве случаев пользуются своими мыслями, как умственной игрой, обращаются со своим разумом, как с маховым колесом, с которого снят передаточный ремень, а в поступках своих подчиняются чужим мыслям — обычаю, преданию, закону; другие же, считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему, только изредка — и то после критической оценки, — следуя тому, что решено другими.



Одно из самых обычных и распространенных суеверий — то, что каждый человек имеет свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если скажем про одного человека, что он всегда добрый или умный, а про другого, что он всегда злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая,

то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских, и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь, между тем, все одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки.



Как солнце и каждый атом эфира есть шар законченный в самом себе и, вместе с тем, только атом недоступного человеку по огромности целого — так и каждая личность носит в самом себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим.

Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любит пчелу, впивающуюся в чашечку цветка, и говорит: цель пчелы состоит во впитывании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая что пчела собирает цветочную пыль и приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль[цу] для выкармливания молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пыль[цо]ю двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению; этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели.

Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями жизни. То же с целями исторических лиц и народов.



Несчастное, жалкое создание человек со своею потребностью положительных решений, брошенный в этот дви-

жущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой — неблаго. Проходят века и где бы что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью по невозможности человека обнять всей истины и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости.

Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошло и пройдут миллионы. Цивилизация — благо, варварство — зло; свобода — благо, неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы того и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие, запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и взвесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, пронизывающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.



Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обслуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли, рассеянности почти, крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик-отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь важное лицо, к которому все общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдем»?



Чтобы переменить мирозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее мирозерцание и жить сообразно с ним.



Лучшие вещи выходят всегда нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже.



Ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая на-

ружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.



Как ни испытан жизнью, как ни умен человек, выражение уважения от людей, уважаемых большим числом людей, всегда приятно.



Я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, трудно, даже большею частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который — не удержался — сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.



Человек начинает жить сам только тогда, когда знает, что он живет. Знает же он, что живет, когда знает, что желает блага себе и что другие существа желают того же. Это знание дает ему пробудившийся в нем разум.



Узнавать же то, что он живет и желает блага себе и что того же желают другие существа, человек неизбежно узнает и то, что то благо, которого он желает для своего отдельного существа, недоступно ему и что вместо того блага, которого он желает, ему предстоят неизбежные страдания и смерть. То же самое предстоит и всем другим существам. И является противоречие, которому человек ищет разрешения такового, при котором его жизнь такая, какая она есть, имела бы разумный смысл. Он хочет, чтобы жизнь продолжала быть

тою, какою она была до пробуждения его разума, т. е. совсем животною, или чтобы она была уже совсем духовною.



Человек хочет быть зверем или ангелом, но не может быть ни тем, ни другим.

И тут является то разрешение этого противоречия, которое дает христианское учение. Оно говорит человеку, что он не зверь, не ангел, но ангел, рождающийся от зверя,— духовное существо, рождающееся от животного. Все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как это рождение.



Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а predetermined значение.



Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченные ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.



Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение.



Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет

на других людей, тем очевиднее predeterminedность и неизбежность каждого его поступка.



Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнув в бесконечность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте — исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, т. е. в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима.



Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов; и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний тех различных царей, полководцев и министров, и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.



В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые так же, как ярлыки, менее всего имеют связи с самим событием.



Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле не произвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.



Причин исторического события — нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно тогда только, когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.



Каждому администратору в спокойное, небурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, в своей утлой лодочке упирающемуся шестом в корабль народа и самомудвигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он опирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.



Все, что вносит единение между людьми, есть благо и красота; все, что их разъединяет, — зло и уродство. Все люди знают это определение. Оно запечатлено в нашем сердце.



Начало желания блага появилось в человеке сначала [вместе с рождением], как жизнь его отдельного животного существа; потом как жизнь тех существ, которые он любил; потом, с тех пор как пробудилось в нем его разумное сознание, оно проявилось как желание блага всему существующему. Желание же блага всему существующему есть начало всякой жизни, есть любовь, есть Бог, как и сказано в Евангелии, что Бог есть любовь.



Единственный признак благости дела есть то, что люди свободно исполняют его.



Желание блага себе, любовь к себе могла существовать в человеке только до тех пор, пока не проснулся в нем разум. Когда только проснулся разум, так ясно стало человеку, что желание блага себе, отдельному существу, — тщетно, потому что благо неосуществимо для отдельного и смертного существа. Как только появился разум, так стало возможно только одно желание блага, — желание блага всему; потому что при желании блага всему нет борьбы, а [есть] единение, и нет смерти, а [есть] передача жизни.



Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, т. е. к Богу.



Добро есть действительно понятие основное, метафизически составляющее сущность нашего сознания, — понятие, не определяемое разумом.



Добро есть то, что никем не может быть определено, но что определяет все остальное.



Делать добро — значит делать то, что хорошо для человека. А чтобы узнать, что хорошо для человека, надо стать с ним в человеческие, т. е. дружеские отношения. И потому, чтобы делать добро, не деньги нужны, а нужна прежде всего способность хоть на время отречься от условности нашей жизни; нужно не бояться запачкать сапоги и платья, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговаривать с ним по душе, так, чтобы он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь на самого себя. А чтобы это было [так], нужно, чтобы человек находил смысл жизни вне себя. Вот что нужно, чтобы было добро, и вот, что трудно найти.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают ее все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.



Добро нельзя мерить ничем, нельзя сказать, кто сделал больше, кто меньше. Вдова, которая отдает последнюю полушку, отдает более, чем богатый, дающий тысяч. Нельзя мерить добро и тем, что полезно и бесполезно.



Образцом того, как нужно делать добро, пусть будет та женщина, которая пожалела Иисуса и безумно пролила ему на ноги масла дорогого на 300 рублей. Иуда сказал, что она глупо сделала, что на это можно было накормить многих. Но Иуда был вор, он солгал, и, говоря о пользе плотской, думал не о нищих. Нужна не польза, не количество, а нужно всегда, всякую минуту любить других и отдавать им свое.



Человеку, живущему нашею жизнью, нельзя вести добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в ко-

торых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому измеряется одним и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.



Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в (со)прикосновении с природой, этим непосредственным выражением красоты и добра.



Несчастье и зло людей происходят не столько от того, что люди не знают своих обязанностей, сколько от того, что они признают ложные обязанности, что они признают свою обязанностью не то, что есть их обязанность, и не признают своею обязанностью того, что и есть главная их обязанность.



Можно заставить человека быть рабом и делать то, что он считает для себя злом, но нельзя заставить его думать, что, терпя насилие, он свободен, и что то очевидное зло, которое он терпит, составляет его благо. Это кажется невозможным.



Где будет насилие, возведенное в закон, там будет и рабство.



Любить вообще — значит делать доброе.



Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного и чаще всего в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всею тою ложью, которая заглушает в нас жизнь, — того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного — чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и это одно есть та любовь, в которой жизнь человека.



Есть три рода любви:

- 1) любовь красивая,
- 2) любовь самоотверженная и
- 3) любовь деятельная.

Я не говорю о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.



Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются.



Люди, которые любят красивою любовью, очень мало заботятся о взаимности, как об обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их глав-

ная цель состоит только в том, чтобы приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того, чтобы подержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем отечестве люди известного класса, любящие *красиво*, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили говорить про нее по-французски.



Второго рода любовь — любовь самоотверженная — заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету.



«Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того, чтобы доказать всему свету и *ему* или *ей* свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу [цену] жертвы; большею частью постоянны, потому что им тяжело потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть, для того, чтобы доказать *ему* или *ей* всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтобы доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, замахнуть от любви — на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда гор-

ды своей любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы, и — странно сказать — желают своим предметам опасностей, чтобы избавлять их от несчастий, чтобы утешать, и даже пороков, чтобы исправлять от них.

Вы одни живете в деревне со своею женой, которая любит вас с самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите; любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она нечего не любит, кроме вас. Она *видимо* больна, но, не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого; она *видимо* скучает; но для вас она готова скучать всю свою жизнь; ее *видимо* убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом (какое бы оно ни было: охота, книги, хозяйство, служба); она видит, что эти занятия погубят вас, но она молчит и терпит. Но вот вы сделали больны, — любящая жена ваша забывает свою болезнь и неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели; и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий: «что же, я говорила, но мне [теперь] все равно и я все-таки не оставлю тебя». Утром вам немного лучше, вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана; суп, который один вам можно есть, не заказан повару, за лекарством не послано; но, изнуренная от ночного бдения, любящая жена ваша все с таким же выражением соболезнования смотрит на вас, ходит на цыпочках и шепотом отдает слугам непривычные и неясные приказания. Вы хотите читать — любящая жена со вздохом говорит вам, что она знает, что вы ее не слушаетесь, будете на нее сердиться, но она уже привыкла к этому, — вам лучше не читать; вы хотите пройтись по комнате — вам этого тоже лучше не делать; вы хотите поговорить с приехавшим приятелем — вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, но любящая жена ваша, худая, бледная, изредка вздыхая, в полусвете ночника сидит против вас на кресле и малейшим движением, малейшим звуком возбуждает в вас чувства досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уже двадцать лет, к которому вы привыкли, который с удовольствием и отлично служит вам, потому что днем выпался и получает за свою службу жалованье, но она не позволяет ему служить вам. Она все делает сама своими слабыми, непривычными

пальцами, за которыми вы не можете не следить со сдержанною злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить склянку, потушить свечку, проливают лекарство или брезгливо дотрагиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и просите ее уйти, вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать и шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни (что она беспрестанно вам повторяет), делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию, и в то время как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержения только кроткою скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим.



Третий род — любовь деятельная — заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет, и тем легче им любить, т. е. удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят все так же и в противном случае и не только желают счастья для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его.



Любовь только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек отдает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое тело для любимого предмета, когда он отдает ему свою жизнь, только это мы

признаем все любовью и только в такой любви мы все находим благо, награду любви. И только тем, что есть такая любовь в людях, только тем и стоит мир. Мать, кормящая ребенка, прямо отдает себя, свое тело в пищу детям, которые без этого не были бы живы. И это — любовь. Так же точно отдает себя, свое тело в пищу другому всякий работник для блага других, изнашивающий свое тело в работе и приближающий себя к смерти. И такая любовь возможна только для того человека, у которого между возможностью жертвы собой и теми существами, которых он любит, не стоит никакой преграды для жертвы. Мать, отдавшая кормилице своего ребенка, не может любить; человек, приобретающий и сохраняющий свои деньги, не может любить.



Любовь есть сама жизнь, но не жизнь неразумная, страдальческая и гибнущая, но жизнь блаженная и бесконечная. И мы все знаем это.



Любовь не есть вывод разума, не есть следствие известной деятельности; а это есть сама радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас и которую мы все знаем в себе с самых первых воспоминаний детства до тех пор, пока ложные учения мира не засорили ее в нашей душе и не лишили нас возможности испытывать ее.



Любовь — это не есть пристрастие к тому, что увеличивает временное благо личности человека, как любовь к избранным лицам или предметам, а то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности.



Любовь истинная становится возможной только при отречении от блага животной личности.

Возможность истинной любви начинается только тогда, когда человек понял, что нет для него блага его животной личности. Только тогда все соки его жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола дичка животной личности.



Не вследствие любви к отцу, к сыну, к жене, к друзьям, к добрым и милым людям, как это обыкновенно думают, люди отрекаются от личности, а только вследствие сознания тщеты существования личности познает человек истинную любовь и может истинно любить отца, сына, жену, детей и друзей. Любовь есть предпочтение других существ себе — своей животной личности.



Забвение ближайших интересов личности для достижения отдаленных целей той же личности, как это бывает при так называемой любви, не выросшей на самоотречении, есть только предпочтение одних существ другим для своего личного блага.



Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть известным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное состояние, свойственное детям и разумным людям.

Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности. Как часто приходится слышать слова: «мне ведь все равно, мне ничего не нужно», и вместе с этими словами видеть нелюбовное отношение к людям. Но пусть попробует всякий человек хоть раз в минуту недоброжелательности к людям искренно, от души сказать себе: «мне все равно, мне ничего не нужно», и только хоть на время ничего не желать для

себя,— и всякий человек этим простым внутренним опытом познает, как тотчас же, по мере искренности его отречения, падет всякое недоброжелательство, и каким потоком хлынет из его сердца запертое до тех пор благоволение ко всем людям.



Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее природы физической. Горе никогда не убивает.



Любви в будущем не бывает: любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви.



Люди, одаренные способностью любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы.



В первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-помалу уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде, с достоинствами и недостатками, одни недостатки, как неожиданность, ярко, преувеличенно бросаются нам в глаза, чувство влечения к новизне и надежды на то, что невозможно совершенство в другом человеке, поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы не жалея бросаем его и бежим вперед искать нового совершенства.



Счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним; человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив.



Какие главные условия земного счастья — такие, о которых никто спорить не будет?

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, т. е. жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе, общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключение в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира. Чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них — почти все женщины — доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как рожатся, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанные людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани и дерево; едят они по слабости своих желудков большею частью несвежее и вонючее. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца, те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землею, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкой, выросшей на тюремном

дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.



Другое несомненное условие счастья есть труд: во-первых, любимый и свободный труд; во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий успокаивающий сон. Опять, чем большего по своему счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого условия счастья. Все счастливыцы мира, чиновники и богачи, или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю «безуспешно», потому что работа тогда только радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры и им подобные, устраивающие гостинные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю «ненавистную», потому что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник счищает снег перед домом.) Все эти счастливыцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, т. е. находятся в том положении, в котором находятся каторжные.



Третье несомненное условие счастья есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство — прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большею частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом воспитателям, так что от семьи имеют только горе-детей, которые смолodu становятся так же несчастны, как их родители, и которые по отношению к родителям имеют одно чувство — желание смерти, для того, чтобы на-

следовать им.¹ Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.



Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющие этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ними, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей, остальное все отрезано от них. Для министра и богача и их семей есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?



Пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестни-

¹ Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей: «мне ничего не нужно, — говорит родитель, — мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». Т. е. я несомненно, опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастны, как и я. И для этого я, по своей любви к ним, привожу их в город, полный физических и нравственных зараз, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей.

це, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который несет крестьянин, и сравните их. Вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины. Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом,— такое же исключение, как больная в рабочем сословии. Все эти счастливицы, без исключения, начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те годы, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объедения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калекми, неспособными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними, и, как мученики, ищут страданий и (по)гибели.

Одна жизнь за другою бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые, и новые жертвы со стонами, и воплями, и проклятиями валятся под нее!



Всякое величайшее дело делается в условиях незаметности, скромности, простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при освещении, грома пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятия о важности занятия, напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дела. Великие, истинные дела всегда просты и скромны.



Нет величия там, где нет простоты, добра и правды.



Истина есть соответствие выражения с сущностью предмета и потому есть одно из средств достижения добра, но сама по себе истина не есть ни добро, ни красота и даже не совпадает с ними.



Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истиною и в действительности. Если жизнь в Боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинна, блаженна здесь, на земле, при возможных случайностях жизни. Если бы жизнь здесь не подтверждала учения Христа о жизни, то это учение было бы не истинно.



Есть истины, давно уже или признанные самим человеком или переданные ему воспитанием, преданием и принятые им на веру, следование которым стало для него привычкой, второй природой: человек не может не признавать таких истин и потому несвободен по отношению к ним. Есть еще другие истины, только как бы вдалеке представляющиеся человеку и еще не вполне открывшиеся ему; человек не может по своей воле признать их. В признании тех и других он одинаково не свободен: он не может не признавать первых и не может еще признавать вторых. Но есть третий род истин,— таких, которые не стали еще для человека бессознательным мотивом деятельности, но вместе с тем уже с такою ясностью открылись ему, что он не может обойти их и неизбежно должен так или иначе отнестись к ним, признать или не признать их. В отношении этих-то истин, и только этих истин, и проявляется свобода человека.



Всякий человек в своей жизни находится по отношению к различным истинам и вообще к истине в положении путника, идущего в темноте при свете впереди двигающегося фонаря: он не видит того, что он прошел и что закрылось уже темнотой, не видит и того, до чего не дошел и

что еще не освещено фонарем; и не властен изменить своего отношения ни к тому, ни к другому. Но он видит то, что освещено фонарем,— на каком бы месте он ни стоял, и всегда властен выбрать ту или другую сторону дороги, по которой движется. Точно так же и для каждого человека, двигающегося в духовной жизни, есть всегда истины, уже пережитые, усвоенные им и составляющие уже часть его сознания; есть другие, не открывшиеся еще его умственному взору и только предугадываемые им, и есть третьи истины, настолько открывшиеся человеку, что он неизбежно должен так или иначе отнестись к ним: признать или не признать их. И вот в признании или непризнании этих-то истин и проявляется то, что мы создаем как свою свободу.

Вся трудность и кажущаяся неразрешимость вопроса о свободе человека происходит от того, что люди, решающие этот вопрос, представляют себе человека неподвижным по отношению к истине.

Человек несомненно несвободен, если только допустит, что жизнь человека и человечества не есть постоянное движение от темноты к свету, от низшей степени истины к высшей,— от истины, более смешанной с заблуждениями, к истине, более освобожденной от них, т. е. если представить себе человека неподвижным.

Человек был бы несвободен, если бы он не знал никакой истины, и точно так же не был бы свободен и даже не имел бы понятия о свободе, если бы вся истина, долженствующая руководить его в жизни, раз навсегда во всей чистоте своей, без примеси заблуждения была открыта ему.

Но человек не неподвижен относительно истины: постоянно по мере движения своего в жизни, каждый отдельный человек,— так же, как и все человечество,— все больше и больше освобождается от заблуждения и подчиняется истине. И потому все люди всегда находятся в тройном отношении к истине: одни истины так уже усвоены ими, что стали бессознательными причинами поступков, другие только начинают открываться им, третьи, хотя и не усвоены еще ими, открыты им до такой степени ясности, что они неизбежно так или иначе должны отнестись к ним, должны признать или не признать их. И вот в признании или непризнании этих-то истин и состоит свобода человека.



Истина не может войти в человека помимо разума, и потому человек, который думает, что он познает истины верою, а не разумом, только обманывает себя и неправильно употребляет свой разум на то, на что он не предназначен,— на решение вопросов о том, кому из передающих учения, выдаваемые за истину, надо верить и кому не верить. Разум же предназначен не на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить (этого он и не может решить), а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. Это он всегда может и на это он и предназначен.



Истина для своего распространения и усвоения людьми не нуждается ни в каких приспособлениях и украшениях; только ложь и обман для того, чтобы быть воспринятыми людьми, нуждаются в особенных условиях передачи их.



Человек должен понимать и помнить, что истина открыта ему только в его разуме, данном Богом человеку для познания воли Бога, и что внушение недоверия к разуму имеет в своей основе желание обмана, и есть величайшее кощунство.



Человек должен понимать и помнить, что истина никогда не может быть открыта вся, что постепенно открывается людям и открывается только тем, которые ищут ее, а не тем, которые, веруя в то, что им передают непогрешимые посредники, думают, что обладают ею, и потому, чтобы не подвергать себя опасности впасть в самые страшные заблуждения, человек не должен признавать никого непогрешимым учителем, а искать истины везде, во всех преданиях человеческих, проверяя их своим разумом.



Истина есть то, что познается усилиями и ничем другим познаваться не может. И истина, познаваемая разумом человеческим, никогда совершенною быть не может, а только более или менее приближается к совершенной истине. Так что истина может быть высшей, доступной в данное время человеку, истиной, но никогда не может быть совершенной на все времена, несомненной (абсолютной) истиной. Никакое положение не может быть такой совершенной на все времена истиной уже по тому одному, что жизнь, как всего человечества, так и каждого отдельного человека, вся проходит и даже состоит в достижении все более и более совершенной истины.



Счастливая, счастливая невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.



Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар? — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?



В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не

на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятные и разделенные мечты о будущем счастье составляют уже истинное счастье этого возраста.



Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая, и величественная вместе.



Люди ужасаются перед страданиями, удивляются им, как чему-то совершенно неожиданному и непонятному. А между тем всякий человек взращен страданиями, вся жизнь его есть ряд страданий, испытываемых им и налагаемых им на другие существа, и, казалось, пора бы ему привыкнуть к страданиям, не ужасаться перед ними и не спрашивать себя, зачем и за что страдания. Всякий человек, если только подумает, увидит, что все его наслаждения покупаются страданиями других существ, что все его страдания необходимы для его же наслаждения, что без страдания нет наслаждения, что страдания и наслаждения суть два противоположные состояния, вызываемые одно другим и необходимые одного для другого. Так что же значат вопросы: зачем, за что страдания? — которые задает себе разумный человек. Почему человек, знающий, что страдание связано с наслаждением, спрашивает себя: зачем, за что страдания? А не спрашивать себя: зачем, за что наслаждения?



Вся жизнь животного и человека, как животного, есть непрерывная цепь страданий. Вся деятельность животного и человека, как животного, вызывается только страданием. Страдание есть болезненное ощущение, вызывающее деятельность, устраняющую это болезненное ощущение и вызывающее состояние наслаждения. И жизнь животного и человека, как животного, не только не нарушается страданием, но совершается только благодаря страданию. Страдания, следовательно, суть то, что движет жизнь, и потому есть то, что и должно быть; так о чем же человек спрашивает: зачем и за что страдания?



Для того, кто точно искренно страдает страданиями окружающих его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, единственно возможное для исцеления окружающих его зол и для сознания законности своей жизни,— то самое, которое дал Иоанн Креститель на вопрос его: что делать? И которое подтвердил Христос: не иметь больше одной одежды и не иметь денег, т. е. не пользоваться трудами других людей. А чтобы не пользоваться трудами других,— делать своими руками все, что можем делать.



Страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто переносит их.



Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того, как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающей силой жизни.



При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один всегда разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив,— второму.



Красотой в смысле субъективном мы называем то, что доставляет нам известного рода наслаждение. В объектив-

ном же смысле красотой мы называем нечто абсолютно совершенное и признаем его таковым только потому, что получаем от проявления этого абсолютного известного рода наслаждение, так что объективное определение есть не что иное, как только иначе выраженное субъективное. В сущности, и то, и другое, понимание красоты сводится к получаемому нами известного рода наслаждению, т. е. что мы признаем красотой то, что нам нравится, не вызывая в нас вожделения.



Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть оснoвание всех наших пристрастий.



Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра. Я знаю, что на это всегда говорят о том, что красота бывает нравственная и духовная, но это только игра слов, потому что под красотой духовной или нравственной разумеется не что иное, как добро. Духовная красота, или добро, большею частью не только не совпадает с тем, что обыкновенно разумеется под красотой, но противоположна ему.



В одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.



Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, т. е. чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остается решительности.



Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; как только мнение это ясно выражено — какое бы оно ни было — страдание прекращается.



Человеческая мудрость вовсе не заключается в количестве знаний. Есть бесчисленное множество вещей, которых мы не можем знать. Не в том мудрость, чтобы знать как можно больше. Мудрость человеческая состоит в знании того порядка, в котором полезно знать вещи; мудрость состоит в знании того, какие из знаний важнее и какие менее важны. Из всех же знаний, нужных человеку, самое главное есть знание того, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра; и из всех искусств самое важное то, которое учит избегать зла и производить благо с наименьшим усилием.



Когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламенением и остывающем энтузиазме: его дух так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны; для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желаний отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненого в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним лошади и

расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случай при осаде Гергебеля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверк двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыве, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели.



Во взгляде на честность народа и высшего класса часто встречается совершенная противоположность. Требования народа в особенности серьезны и строги в отношении честности в самых близких отношениях, например, в отношении к семье, деревне, к миру. В отношении к посторонним — с публикой, с государством, в особенности с иностранцем, с казной — для них смутно представляется приложимость общих правил честности. Мужик, который никогда не солжет своему брату, перенесет всевозможные лишения для своей семьи, который лишней и незаслуженной копейки не возьмет у своего односельчанина или соседа, — тот же мужик обдерет как липку иностранца или горожанина, на каждом слове солжет дворянину или чиновнику; будь он солдатом, без малейшего угрызения совести заколет пленного француза и, попадись ему казенные деньги, сочтет преступлением в отношении своей семьи не воспользоваться ими. В высшем классе бывает, напротив, совершенно противное. Наш брат скорее обманет жену, брата, купца, с которым десятки лет имеет дело, своих дворовых, крестьян, соседа, и тот же самый человек за границей снедаем постоянным страхом, как бы нечаянно не обмануть кого, и все просит указать ему, кому еще нужно отдать деньги. Тот же наш брат обдерет на шампанское и перчатки свою роту и полк и будет рассыпаться в любезностях перед пленным французом. Тот же самый человек в отношении казны считает величайшим преступлением воспользоваться, когда он без денег (считает только), но большею частью при случае не ус-

тоит в борьбе и сделает то, что сам считает подлостью. Я не говорю, что лучше, я говорю только, как, мне кажется, оно есть. Замечу только, что честность не есть убеждение, что выражение «честные убеждения» есть бессмыслица. Честность есть нравственная привычка; чтобы приобрести ее, нельзя идти иным путем, как начинать с ближайших отношений. Выражение «честные убеждения», по моему мнению, совершенно бессмысленно: есть честные привычки, а нет честных убеждений.



Мы все привыкли думать, что нравственное учение есть самая пошлая и скучная вещь, в которой не может быть ничего, нового и интересного; а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности, деятельности — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее уяснение, утверждение, упрощение и общедоступность нравственной истины.



Самое простое и короткое правило нравственности состоит в том, чтобы заставить служить себе других как можно меньше и служить другим как можно больше. Как можно меньше требовать от других и как можно больше давать другим.



Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей ступени. Как в учении браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетели, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учителя человечества, как религиозные, так и нерелигиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта выте-

кает и из самой сущности дела и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.



В области нравственной происходит одно удивительное, слишком мало замечаемое явление.

Если я расскажу человеку, не знавшему этого, то, что мне известно из геологии, астрономии, истории, физики, математики, человек этот получит совершенно новые сведения и никогда не скажет мне: «Да что же тут нового? Это всякий знает, и я давно знаю». Но сообщите человеку самую высокую, самым ясным, сжатым образом, так, как она никогда не выражалась, выраженную нравственную истину, — всякий обыкновенный человек, особенно такой, который не интересуется нравственными вопросами, или тем более такой, которому эта нравственная истина, высказанная вами, не по шерсти, непременно скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и известно, и высказано». Ему, действительно, кажется, что это давно и именно так сказано. Только те, для которых важны и дороги нравственные истины, знают, как важно, драгоценно и каким длинным трудом достигается уяснение, упрощение нравственной истины — переход из ее туманного, неопределенно сознаваемого предположения, желания, из неопределенных, несвязных выражений в твердое и определенное выражение, неизбежно требующее со-ответствующих ему поступков.



Что значит собственность? Собственность значит то, что дано, принадлежит мне одному исключительно, то, с чем я могу сделать всегда все, что хочу, то, чего никто не может отнять у меня, что остается моим до конца моей жизни, и то, что я именно должен употреблять, увеличивать, улучшать. Такая собственность для каждого человека есть только он сам.



А между тем в этом самом смысле и разумеется обыкновенно воображаемая собственность людей, та самая, во имя которой (для того, чтобы сделать невозможное: эту вообра-

жаемую собственность сделать действительною) и происходит всё страшное зло мира: и войны, и казни, и суды, и остроги, и роскошь, и разврат, и убийство, и гибель людей.



Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия, как факт, необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно-рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу, про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобов и тщеславия?



Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинной горечью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым; и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности.



Мысль переходит в убеждение только известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы.



Ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях. Мысли, служившие основанием

различных философских теорий, составляют нераздельные части ума, но каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.



Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую, чувствительную борозду, так что, часто и не помня уже о сущности мысли, согласишься, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее.



Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание.



Ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себе мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него.



Отдельно от общих, более или менее развитых в лицах способностей ума, чувствительности, художественного чувства существует частная, более или менее развитая в различных кружках общества и особенно в семействах, способность, которую я называю *пониманием*. Сущность этой способности состоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба вместе уже видят фразу; в одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала и начинается ирония, где кончается увлечение и начинается притворство, что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для обоих бросается в глаза преимущественно своею

смешною или красивую, или грязною стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют.



Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности ум человека!



Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.



Обыкновенно в нашем взгляде на жизнь и смерть видят что-то мистическое. Но тут нет ничего такого.



Я люблю свой сад, люблю читать книжку, люблю ласкать детей. Умирая, я лишаюсь этого, и потому мне не хочется умирать и я боюсь смерти.

Может случиться, что вся моя жизнь составлена из таких временных мирских желаний и их удовлетворения. Если так, то мне нельзя не бояться того, что прекращает эти желания. Но если эти желания и их удовлетворение — изменились во мне и заменились другим желанием — использовать волю Бога, отдаться Ему в том виде, в котором я теперь, и во всех возможных видах, в которых буду, то чем больше заменились мои желания, чем меньше не только страшна мне смерть, но тем меньше существует для меня смерть. А если заменятся мои желания совсем, то и нет ничего, кроме жизни, и нет смерти. Заменять мирское, временное вечным — это путь жизни, и по нем-то надо нам идти. А как это — в своей душе знает каждый из нас.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
МЫСЛИ А. С. ПУШКИНА	5
Искусство. Поэзия. Поэт	7
Словесность. Писатели. Критика. Литературные нравы	15
Законы. Политика. Воспитание	39
Женщина. Любовь. Семья	52
Россия. Русский язык. Русская история.	61
Житейская мудрость. Нравственная философия	81

ИЗБРАННЫЕ МЫСЛИ И ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

Н. В. ГОГОЛЯ, ЕГО ПИСЕМ И ВОСПОМИНАНИЙ О НЕМ	111
Россия и русский человек	113
Об искусстве	131
Литература.	139
Театр.	150
О себе и своих произведениях	156
Женщины.	162
Из обиходного словаря действующих лиц театра Гоголя.	166
Разные мысли, парадоксы, шутки.	173
О братстве	190

МЫСЛИ, ВЗГЛЯДЫ, ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ

Л. Н. ТОЛСТОГО	195
О Боге	197
О религии	205
О воспитании и образовании	217

О науке	229
Об искусстве	235
О смысле жизни	250
О браке и женщинах	269
О нравственной природе человека	283

ИЗБРАННЫЕ МЫСЛИ

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя
и Л. Н. Толстого

Редактор *В. Дзама*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Т. Фатюхина*
Корректор *Л. Калайда*
Компьютерная верстка *Т. Понятых*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0501166.

Подписано в печать 02.07.01 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8.

Уч.-изд. л. 14,64. Заказ № 0108570.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

*Следовать за мыслями великого человека
есть наука самая занимательная.*

А. С. Пушкин

*В груди нашей заключается какая-то тайная
вера в правительство. Что ж? Тут нет ничего
дурного: дай Бог, чтобы правительство всегда
и везде слышало призвание свое — быть
представителем Провидения на земле,
и чтоб мы веровали в него, как древние
веровали в рок, настигавший
преступления.*

Н. В. Гоголь

*Человек начинает жить сам только тогда,
когда знает, что он живет. Знает же,
что живет, когда знает, что желает блага себе
и что другие существа желают того же.
Это знание дает ему пробудившийся
в нем разум.*

Л. Н. Толстой

ISBN 5-275-00216-5



9 785275 002164